

Лев Толстой
«Из
Толстовского
листка-11»
(окончание)

НЕДЕЛАНИЕ

КАК И ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

НАШЕ ЖИЗНЕПОНИМАНИЕ

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

О ВОСПИТАНИИ

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ?

БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ ПО НРАВСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ

КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ
РЕБЯТАМ У НАС ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?

ДЕТСКАЯ МУДРОСТЬ

О РЕЛИГИИ

О ВОЙНАХ

ОБ ОТЕЧЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ

О ПОДАТЯХ

ОСУЖДЕНИЕ

О ДОБРОТЕ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

О ПЬЯНСТВЕ

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

БОГАТСТВО

ЛЮБИТЕ ОБИЖАЮЩИХ ВАС

ПЕЧАТЬ

РАСКАЯНИЕ

ОБ ИСКУССТВЕ

НАУКА

СУД

СУД УГОЛОВНОГО

СОБСТВЕННОСТЬ

ДЕТИ

ВОСПИТАНИЕ

НЕДЕЛАНИЕ

Редактор парижского журнала «Revue des revues», предполагая, как он пишет в своем письме, что мнение двух знаменитых писателей о современном положении умов будет мне интересно, прислал мне две вырезки из французских газет. Одна из них содержит речь Золя, другая — письмо Дюма к редактору «Голуа». Я очень благодарен г-ну Smith за его посылку. Оба документа эти и по знаменитости своих авторов, и по своей современности, и, главное, по своей противоположности представляют глубокий интерес, и мне хочется высказать несколько вызванных ими мыслей.

Трудно нарочно подыскать в текущей литературе в более сжатой, сильной и яркой форме выражение тех двух самых основных сил, из которых складывается равнодействующая движения человечества: одна — мертвая сила инерции, стремящаяся удержать человечество на раз избранном им пути, другая — живая сила разума, влекущая его к свету.

Вот в полноте речь Золя:

ЮНОШЕСТВУ

Господа!

Вы меня глубоко ошастливили и много порадовали, избрав председателем этого годичного собрания. Нет лучшего общества, более милого, и, главное, нет аудитории симпатичнее молодежи, перед которой широко раскрывается сердце, полное желанием быть любимым и выслушанным.

Увы! я уже в тех годах, когда наступает сожаление о минувшей молодости, и когда заботятся уже о вновь подрастающем поколении. Они будут нашими и судьями, и продолжателями. Я чувю в них рождение будущего и часто с тревогой задаю себе вопрос: что из нашего они отбросят и что сберегут, что станет нашим делом в их руках, потому что только в их руках оно станет делом, только тогда оно будет, если они примут его, чтобы расширить и довести до конца. Вот почему я страстно слежу за движением мысли в современной молодежи, читаю передовые газеты и журналы, стараюсь узнать новый дух, оживляющий школы, узнать, наконец, куда вы все идете, вы — разум и воля будущего. Правда, господа, тут есть эгоизм, я этого не скрываю. Я похож на работника, кончающего постройку дома, в котором он надеется провести остаток дней своих, и который беспокоится, какая будет погода. Не повредит ли дождь его стенам? Или вдруг задует северный ветер и сорвет крышу с дома? А главное, прочно ли он построил дом, устоит ли он против бури? Прочен ли материал, предусмотрены ли несчастные случаи? Я говорю это не потому, чтобы предполагал, что какие-нибудь человеческие произведения могли бы быть вечны и окончательны. Величайшие из них должны примириться с тем, чтобы быть только моментом в непрерывном развитии человеческого разума. Достаточно за глаза и того, чтобы сознавать себя хоть на самое короткое время носителем слова одного поколения. И так как нельзя закрепить литературу, а все непрерывно развивается, все вновь начинается, нужно быть готовым видеть, как рождаются и растут младшие, которые заместят вас, которые, быть может, сотрут даже воспоминание о вас. Я вовсе не хочу сказать, что старый боец, который сидит во мне, не чувствует временами желанья

сопротивляться, когда он видит нападения на свое произведение. Но, право, в отношении наступающего будущего столетия у меня больше любопытства, чем возмущения, больше горячего сочувствия, чем личного беспокойства, и да сгину я, и да сгинет со мной все наше поколение, если мы в самом деле годны только на то, чтобы завалить собой ямы и облегчить этим путь к свету тем, кто следует за нами.

Господа! Я слышу постоянные толки о том, что позитивизм кончается в предсмертных муках, что натурализм уже умер, что наука обанкротится того и гляди, потому что не дала нравственного мира и счастья людям, которые обещала. Вы понимаете хорошо, что я не берусь здесь решать великие задачи, затрагиваемые этими вопросами. Я невежда. Я не имею права говорить от имени науки и философии. Если хотите знать, я просто романист, писатель, иногда немного угадывавший, и все мое значение происходит оттого, что я много наблюдал и много работал. И только лишь в качестве свидетеля я позволю себе говорить вам о том, чем было или, по крайней мере, хотело быть мое поколение, люди, которым теперь пятьдесят лет, и которых ваше поколение скоро назовет предками.

Я был очень удивлен на днях, при открытии выставки на Марсовом поле, особенным видом зал. Предполагается, что это все те же картины. Это заблуждение, — эволюция медленна, но каково бы было изумление, если бы можно было восстановить прежние выставки! Что касается до меня, то я хорошо помню последние выставки академические и романтические в 1863 году. Работа на воздухе («полный свет», *plein air*) еще не восторжествовала, был общий тон битюма; это была какая-то мания, какие-то зажаренные тона, полумрак мастерских. Потом, лет пятнадцать спустя, после победоносного и так оспариваемого влияния г-на Мане, я вспоминаю новые выставки, где блистал светлый тон полного солнца. Это было как бы наводнение светом, забота о правде, что делало из каждой рамки окно, широко раскрытое на природу, купающуюся в ярком блеске. И вчера, спустя еще пятнадцать лет, я мог усмотреть, как среди этой свежести произведений как будто подымается что-то вроде мистического тумана. Здесь все та же забота о правдивой живописи, но действительность видоизменяется, фигуры как-то удлиняются, потребность оригинальности и новизны уносят художника за пределы мечты.

Если я говорю об этих трех стадиях современной живописи, то это потому, что они, мне кажется, очень ярко выражают движение идей нашего времени. В самом деле, мое поколение, после знаменитых предшественников, которых мы были последователями, старалось широко открыть окна на природу: все видеть, все сказать. В нем, даже между самыми бессознательными, завершилось продолжительное усилие позитивной философии и аналитических и опытных наук. Мы были переполнены наукою, которая окружала нас со всех сторон, мы жили ею, вдыхая в себя воздух того времени. Теперь я могу признаться в этом, я лично был даже сектантом, старающимся перенести в область литературы строгий метод ученого. Но где тот человек, который в борьбе не заходит далее того, что нужно, и ограничивается победой, не нарушая выгоды ее? Впрочем, я ни о чем не жалею и продолжаю верить в страстность, которая желает и действует. И потом, какой энтузиазм и какие надежды одушевляли нас! Все знать, все мочь, все победить! Посредством истины сделать человечество более высоким и счастливым! И вот тут-то, господа, вы, молодежь, выступаете на сцену. Я говорю, молодежь — что-то неопределенное, отдаленное и глубокое, как море; потому что где она — молодежь? Чем она будет в действительности? Кто призван говорить во имя ее? Я должен держаться тех мыслей, которые ей приписывают. И если эти мысли не принадлежат многим из вас, я вперед прошу их простить меня. Я

обращаю их к тем, которые обманули нас сомнительными сведениями; более согласными, вероятно, с их желанием, чем с действительностью.

Итак, господа, нас уверяют, что ваше поколение разрывает с нашим, что вы не полагаете уже всей вашей надежды в науке, что вы признали такую социальную и нравственную опасность в том, чтобы все строить на науке, что вы решились возвратиться к прошедшему и из остатков прежних верований создать для себя живое верование. Конечно, речь идет не о полном разрыве с наукою, — предполагается, что вы принимаете все ее последние приобретения, и что вы намерены расширить их.

Допускается, что вы признаете доказанные истины, и прилагаются старания о том, чтобы приладить их к старинным догматам. В сущности же, наука поставлена в стороне от веры. Ее отталкивают на ее прежнее место. Она — простое упражнение ума и допускаемое исследование до тех пор, пока она не касается до сверхъестественного и загробного. Говорят, что опыт уже сделан, что наука не способна вновь заселить небо, которое она опустошила, и возвратит счастье душам, наивный мир которых она разрушала. Время лживого торжества ее кончено. Она должна быть скромна, потому что не может всего знать, не может сразу все обогатить, все исцелить. И если еще не смеют сказать интеллигентной молодежи, чтобы она бросила свои книги и оставила своих учителей, уже есть святые и пророки, которые ходят среди людей, восхваляя добродетель невежества, ясность простоты и необходимость для слишком ученого и состарившегося человечества, необходимость освежения в глубинах доисторической деревни среди предков, едва только отделившихся от земли, до всякого общества и всякого знания. Я не отрицаю того кризиса, который мы переживаем; это — усталость и возмущение в конце этого века, после столь лихорадочного и колоссального труда, цель которого состояла в том, чтобы все знать и все сказать. Казалось, что наука, которая только что разрушила древний мир, должна была живо воссоздать его по тому идеалу, который мы имеем о справедливости и счастье. (Ждали 20, 50, даже 100 лет. И потом, когда увидели, что справедливость все-таки не царствовала, что счастье не приходило, многие отдались все растущему нетерпению, отчаиваясь и отрицая даже то, чтобы можно было посредством знания достигнуть блаженной воли. Явление известное: нет действия без реакции, и мы присутствуем при неизбежной усталости, свойственной длинным путешествиям: люди садятся на краю дороги и, глядя на бесконечную равнину развертывающегося следующего века, отчаиваются дойти когда-нибудь до цели; доходят даже до того, что сомневаются даже в пройденном пути, сожалеют о том, что не легли в поле, чтобы спать в нем целую вечность. К чему идти, если цель будет постоянно удаляться? К чему знать, если нельзя знать всего? Уж лучше оставаться в чистой простоте, в счастливом неведении ребенка. Таким образом людям кажется, что наука, будто бы обещавшая счастье, на наших глазах обанкротилась.

Но наука разве обещала счастье? Я не думаю этого. Она обещала истину, и вопрос в том, можно ли делать счастье из истины? Чтобы довольствоваться ею, без сомнения, нужно много стоицизма, полного отречения от своего «я», ясности удовлетворенного ума, который можно встретить только у избранных. А между тем, какой крик отчаяния раздается среди страдающего человечества! Как жить без лжи и иллюзии! Если нет где-нибудь другого мира, в котором царствует справедливость, где богатые наказаны и добрые вознаграждены, как прожить без возмущения эту отвратительную человеческую жизнь? Природа несправедлива и жестока, и наука как будто приводит нас к уродливому праву сильного, так что разрушается всякая нравственность, и всякое общество влечется к деспотизму. И вот в этой происходящей реакции, в этой усталости от излишка знания, о которой я говорил, есть тоже это отступление перед истиной, еще плохо разъясненной и

кажущейся жестокой на наши глаза, неспособные еще понять и проникнуть все законы. Нет, нет, воротимся к спокойному сну неведения! Действительность есть школа извращения, надо убить ее и отрицать, потому что действительность есть только безобразие и преступление, и люди бросаются в мечту, и нет другого спасения, как уйти от земли, довериться загробному и надеяться, что там, наконец, мы найдем удовлетворение нашей потребности братства и справедливости.

Этот-то отчаянный призыв к счастью мы слышим теперь. Он меня бесконечно трогает. И заметьте, что он слышится со всех сторон, как жалостный вопль среди грома движения науки, которая не останавливает своих колес и машин. Довольно с нас истины, давайте нам химер! Мы найдем спокойствие только тогда, когда будем мечтать о том, чего нет, когда будем уноситься в бесконечное: там только распускаются те мистические цветы, запах которых усыпит наше страдание. Уже музыка ответила, литература стремится удовлетворить новую жажду, живопись сообразуется с новой модой. Я говорил вам о выставке Марсова поля: вы увидите там расцвет этой флоры древней живописи на окнах, жидких и худых мадонн, видения в сумрачных тенях, окостенелые лица с надломленными жестами примитивистов. Это — реакция против натурализма, который умер и похоронен, как это говорят нам. Во всяком случае, движение несомненно, потому что оно захватило все проявления духа, и надо считаться с ним и изучить, и объяснить его, если не хочешь отчаяться в завтрашнем дне.

Со своей стороны, господа, я, как старый и закоренелый позитивист, вижу в этом только неизбежную остановку в поступательном движении. Остановки, собственно, нет, потому что наши библиотеки, лаборатории, амфитеатры и школы не опустели. Внушает мне доверие и то, что социальная почва не изменилась, а остается все тою же демократическою почвою, на которой вырос наш век. Для того, чтобы расцвело другое искусство, чтобы новое верование изменило направление движения человечества, надо, чтобы это верование имело и новую почву, в которой оно могло бы произрасти, потому что не может быть нового общества без новой почвы. Вера не воскресает, и из мертвых религий можно делать только мифологии.

Потому следующий век будет только утверждением нашего в том демократическом и научном порыве, который увлек нас и который продолжается. Все, что я могу допустить, это — то, что в литературе мы слишком закрыли горизонты.

Я лично сожалел уже о том, что был сектантом, желающим в искусстве держаться только что доказанных истин. Вновь пришедшие раскрыли горизонты, захватив неизвестное и тайну, и они хорошо сделали. Между истинами, установленными наукой и потому непоколебимыми, и истинами, которые она вырвет завтра из области неизвестного, чтобы в свою очередь закрепить их, есть неопределенное поле сомнений и исследований, которое принадлежит, как мне кажется, столько же литературе, сколько и науке.

Вот тут-то мы и можем делать наше дело передовых пионеров, объясняя соответственно своему характеру и силе ума действия неизвестных сил. Идеал ведь есть ничто иное, как необъяснимое, как силы того бесконечного мира, в котором мы купаемся, не зная их. И если мы можем придумывать решения, объясняющие неизвестное, неужели мы можем позволить себе сомневаться в открытых уже законах, представляя себе их иными и этим самым отрицая их? По мере того, как подвигается наука, несомненно отступает и идеал, и мне кажется, что единственный смысл жизни, единственная радость, которую должно находить

в жизни, состоит в этом медленном завоевании, хотя бы нам была ясна грустная достоверность того, что всего мы никогда не узнаем.

В то смутное время, которое мы переживаем, господа, в наше время, столь пресыщенное и столь ищущее, появились пастыри душ, которые озабочены и горячо предлагают молодежи веру. Предложение великодушно, но, к сожалению, эта вера изменяется и извращается соответственно тому пророку, который ее предлагает. Их много различных, но ни одна из них не кажется мне ни очень ясною, ни очень определенной. Вас умоляют верить, не говоря определенно во что. Может быть, этого и нельзя, а может быть, тоже, что и не решаются этого сделать. Вас приглашают верить для того, чтобы вы имели счастье верить; главное, чтобы вы научились верить. Вопрос сам по себе не дурен: конечно, большое счастье полагаться на достоверность веры, какая бы она ни была; но беда в том, что нельзя руководить благодатью: она дует, где хочет.

Итак, я закончу, со своей стороны, предложив вам тоже веру, умоляя вас иметь веру в труд. Работайте же, молодые люди! Я знаю, насколько этот совет окажется банальным. Нет публичного акта, при котором его не повторяли бы среди всеобщего равнодушия воспитанников. Но я прошу вас подумать о нем и позволю себе, я бывший все время только работником, сказать вам о том благе, которое я извлек из того долгого труда, который наполнил всю мою жизнь. Мое вступление в жизнь было трудное: я знал и нищету, и отчаяние, жил потом в борьбе, живу в ней и теперь разбираемый, отрицаемый, осыпаемый оскорблениями. И что ж? У меня была только одна вера, одна сила — труд. Поддержала меня только та огромная работа, которую я задал себе, передо мной всегда стояла вдалеке та цель, к которой я двигался, — и этого было достаточно, чтобы поднимать меня, придавать мне мужество, когда плохая жизнь подавляла меня. Труд, про который я говорю вам, — это труд правильный, ежедневный, урок, обязанность, которую себе задал, хоть на шаг каждый день подвигаться в своем деле. Сколько раз поутру я садился за свой стол с потерянной головой, с горечью во рту, мучимый какою-нибудь великой болью, физической или нравственной! И каждый раз, несмотря на возмущения моего страдания, мой урок для меня был облегчением и подкреплением. Я всегда выходил утешенным из своего ежедневного занятия, с сердцем, может быть, и разбитым, но еще не падающем и могущим жить до завтра.

Труд! Господа, только подумайте о том, что это единственный закон мира, тот регулятор, который влечет органическую материю к ее известной цели! Жизнь не имеет другого смысла, другой причины быть, мы все появляемся только для того, чтобы совершить нашу долю труда и исчезнуть.

Жизнь есть ничто иное, как сообщенное движение, которое она получает и завещает и которое в сущности есть ничто иное, как труд, как работа великого дела, совершаемого во все века. И потому, как же нам не быть скромными и не принять того урока, который задан каждому из вас, без возмущения и не уступая гордости своего «я», которое считает себя центром и не хочет ступить в ряды?

Как только этот урок принят, мне кажется, что спокойствие должно установиться во всяком человеке, даже самом измученном. Я знаю, что есть умы, мучимые бесконечностью, которые страдают от тайны; к ним я братски обращаюсь, советую им занять свою жизнь каким-нибудь огромным трудом, которого, хорошо бы было, они не видели конца. Это — тот маятник, который даст им возможность идти прямо, это — ежечасное рассеяние, это — зерно, брошенное уму для того, чтобы он молот его и делал из него насыщенный хлеб с удовлетворенным сознанием исполненного долга. Конечно, это не разрешает никакой метафизической задачи, это только эмпирическое средство для того,

чтобы честно или почти спокойно прожить свою жизнь; но разве мало того, чтобы приобрести нравственное и физическое здоровье, избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос о приобретении наибольшего возможного счастья на этой земле?

Я, признаюсь, никогда не доверял химерам. Нет ничего менее здорового как для человека, так и для народов, как заблуждение: оно уничтожает усилие, оно ослепляет, оно составляет тщеславие слабых. Продолжать держаться легенды, скрывать от себя действительность, верить, что достаточно мечтать о силе для того, чтобы быть сильным, — мы видели, куда это ведет, к каким страшным бедствиям. Народам говорят, чтобы они смотрели вверх, чтобы они верили в высшую власть, чтобы они возносились к идеалу.

Нет, нет! Такие речи кажутся мне иногда безбожными. Сильный народ только тот, который трудится, и только труд дает мужество и веру. Чтобы победить, нужно, чтобы арсеналы были полны, чтобы вооружение было самое прочное и усовершенствованное, чтобы войско было обучено, доверяло своим начальникам и самому себе. Все это приобретается: для этого нужно только доброе желание и метод. Будущий век, беспредельное будущее принадлежат труду. Пусть не сомневаются в этом. И разве мы не видим уже в поднимающемся социализме зачаток социального закона будущего, закона труда для всех, труда — освободителя и примирителя?

Юноши, молодые люди, беритесь же за дело. Пусть каждый из вас берет за свой урок, который должен наполнить его жизнь. Как ни скромно бы было это дело, оно, тем не менее, будет полезно; в чем бы оно ни состояло, только бы оно поднимало вас. Когда вы его упорядочите без переутомления, давая то количество, которое вы в состоянии произвести каждый день, оно даст вам возможность жить здорово и весело и избавит вас от мук бесконечности. Какое здоровое и великое общество людей было бы то общество, в которое каждый член его вносил бы свою логическую долю труда! Человек, который работает, всегда бывает добр. И потому я убежден, что единственная вера, которая может спасти нас, есть вера в совершенное усилие. Прекрасно мечтать о вечности, но для честного человека достаточно пройти эту жизнь, совершив свое дело.

Г-н Золя не одобряет того, что новые учителя молодежи предлагают ей верить во что-то неопределенное и неясное, и он совершенно прав в этом, но, к сожалению, со своей стороны предлагает ей тоже веру и веру в нечто еще более неясное и неопределенное: веру в науку и труд.

Г-н Золя считает как будто совершенно решенным и неподлежащим сомнению вопрос о том, что есть та наука, в которую надо не переставать верить. Трудиться во имя науки! Но в том-то и дело, что слово «наука» имеет очень широкое и мало определенное значение, так что то, что одни люди считают наукой, т.е. делом очень важным, считается другими и самым большим количеством людей, всем рабочим народом, ненужными глупостями. И нельзя сказать, чтобы это происходило только от необразования рабочего народа, не могущего понять всего глубокомыслия науки: сами ученые постоянно отрицают друг друга. Одни ученые считают наукой из наук философию, богословие, юриспруденцию, политическую экономию; другие ученые — естественники — считают все это самым пустым, ненаучным делом, и, наоборот, то, что позитивисты считают самыми важными науками, считается спиритуалистами, философами и богословами, если не вредными, то бесполезными занятиями. Но мало того, в одной и той же области всякая система среди самих жрецов своих

имеет своих горячих защитников и противников, одинаково компетентных, утверждающих диаметрально противоположное. Мало того, в каждой области постоянно являются такие научные положения, которые, просуществовав иногда год, иногда десятки лет, оказываются вдруг заблуждениями и поспешно забываются теми самими, которые их пропагандировали.

Ведь мы все знаем, что то, что считалось исключительно наукой и делом очень важным у римлян, чем они гордились, без чего считали человека варваром, была риторика, т.е. такое упражнение, над которым мы теперь смеемся и считаем не только не наукой, но пустяками. Так же нам трудно в настоящее время понять состояние умов средневековых ученых, которые были вполне уверены, что вся наука заключается в схоластике. И я думаю, не нужно особенной смелости мысли для того, чтобы и в том огромном количестве знаний, которые в нашем мире считаются важным делом и называются наукой, предугадывать такие, над которыми наши потомки, читая описания той серьезности, с которой мы занимались нашими риторикой и схоластикой, — предметами, признаваемыми в наше время наукой, — будут также пожимать плечами.

В наше время люди, освободившись от одних суеверий, не заметив еще этого, подпали под другие, не менее безосновательные и вредные, как и те, от которых они только что избавились. Избавившись от суеверий отживших религий, люди подпали под суеверия научные. Сначала кажется, что не может быть ничего общего между верованиями древнего еврея в то, что мир сотворен в 6 дней, что грехи отцов будут взисканы на детях, что некоторые болезни излечиваются созерцанием змеи, и верованием людей нашего времени в то, что мир произошел от вращения материи и борьбы существ, что преступность происходит от наследственности, и что существуют микроорганизмы в виде запятых, от которых происходят такие-то болезни, и т.п. Кажется, что нет ничего общего между этими верованиями, но это только кажется.

Стоит перенестись воображением в умственное состояние древнего еврея, когда ему предлагались его верования его жрецами, чтобы убедиться в том, что основания, на которых принимались им положения о происхождении мира, и те, на которых принимаются людьми нашего времени различные научные положения, не только похожи, но совершенно тождественны.

Как еврей верил ведь собственно не в шестидневное творение и целительную змею, а в то, что есть люди, которые несомненно знают высшую, доступную человеку истину, и что поэтому хорошо верить в них, точно так же и люди нашего времени верят не в дарвиновскую теорию наследственности и запятые, а во все то, что им выдают за истину жрецы науки, основы деятельности которых остаются для верующих такими же таинственными, какими оставались для евреев основы знания их руководителей.

Позволяю себе сказать даже и то, что я неоднократно замечал, что, точно так же как, не будучи никем, кроме своими же жрецами, проверяемы, древние жрецы смело лгали и выдавали за истину то, что им взбрело в голову, точно так же нередко случается делать то же самое и так называемым людям науки. Вся речь г-на Золя направлена против учителей молодежи, призывающих ее к возвращению к отжитым верованиям, и г-н Золя считает себя их противником. В сущности же, те, против которых он вооружается, т.е. верующие или скорее желающие верить в отжившую религию, и те, за которых борется г-н Золя, т.е. представители науки, — люди одного лагеря, и если им разобраться хорошенько в своих стремлениях, то им спорить не о чем: querelles d'amoureux,* как говорит Дюма. И те и другие ищут основ жизни, двигателей ее не в себе, не в своем разуме, а во внешних человеческих формах жизни: одни в том, что они называют религией, другие в

том, что называется наукой. Одни, те, которые ищут спасения в религии, берут его из предания о древнем знании других людей и хотят верить этому чужому древнему знанию; другие, те, которые ищут спасения в том, что они называют наукой, берут не из своего знания, а из знания других людей и верят этому чужому знанию. Одни видят спасение человечества в исправленном, подновленном или очищенном полуеврейском, полуязыческом христианстве; другие видят его в совокупности самых случайных, разнообразных и ненужных знаний, которые они называют наукой и считают чем-то самобытно-действующим, благодетельным и потому неизбежно долженствующим исправить все недостатки жизни и дать человечеству высшее доступное благо. Одни как будто нарочно не хотят видеть того, что то, что они хотят восстановить и называют религией, есть только пустая кризалида, из которой бабочка уже давно улетела и кладет яички в другом месте, и что восстановление такой религии не только не может помочь бедам нашего времени, но может только усилить их, отводя глаза людей от настоящего дела. Другие не хотят видеть того, что то, что они называют наукой, будучи случайным собранием некоторых знаний, в настоящее время заинтересовавших нескольких праздных людей, может быть или невинным препровождением времени для богатых людей или, в лучшем случае, только орудием зла или добра, смотря по тому, в чьих руках оно будет находиться, но само по себе ничего не может исправить. В сущности же, в глубине души ни те, ни другие не верят в действительность того средства, которое они предлагают: а и те, и другие одинаково хотят только чем-нибудь отвести глаза себе и людям от той пропасти, перед которой уже стоит человечество, и в которую, продолжая идти по тому же пути, оно неизбежно должно рухнуть. Одни видят это отвлекающее средство в мистицизме, религии; другие, выразителем которых выступил Золя, в одуряющем действии труда для науки.

* ссоры влюбленных.

Разница между людьми, верующими в религию и в науку, только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже развенчана, а другие в новую, ложь которой еще не развенчана и которая поэтому еще внушает благоговейный трепет некоторым наивным людям. Д между тем, суеверие в том, что называется наукой, едва ли меньше, чем в том, что называется религией. Разница только в том, что одно — суеверие прошедшего, другое — суеверие настоящего.

И потому, не будет ли также опасно, последовав совету г-на Золя, посвятить свою жизнь служению тому, что в наше время и в нашем мире считается наукой? Что как я посвящу всю свою жизнь на исследование явлений вроде наследственности по учению Ломброзо, или коховской жидкости, или образования чернозема посредством деятельности червей, или крук-совского четвертого состояния материи и т.п., и вдруг узнаю перед смертью, что то, на что я посвятил всю свою жизнь, были глупые, а может быть, даже и вредные пустяки, а жизнь у меня была только одна.

Есть малоизвестный китайский философ Лаодзи, (первый и лучший перевод его книги «О пути добродетели» Stanislas Julien). Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее благо как отдельных людей, так в особенности и совокупности людей, народов может быть приобретено через познание «Тао» — слово, которое переводится «путем, добродетелью, истиной», познание же «Тао» может быть приобретено только через *неделание*, «le non agir», как переводит это Миен. Все бедствия людей, по учению Лаодзи, происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особенности

общественных, которые преимущественно имеет в виду китайский философ, если бы они соблюдали неделание (*s'ils pratiquaient le non agir*).

И я думаю, что он совершенно прав. Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; полковник — с обучения людей убийству; фабрикант — из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?

Но, может быть, надо говорить только о людях, работающих для науки?

Я постоянно получаю от разных авторов многочисленные тетради, часто и книги с работами, художественными и научными.

Один в окончательной форме разрешил вопрос христианской гносеологии, другой напечатал книгу о космическом эфире, третий разрешил социальный, четвертый — политический, пятый — восточный вопросы, шестой — издает журнал, посвященный исследованиям таинственных сил духа и природы, седьмой — в громадном томе разрешил проблему коня в шахматной игре.

Все эти люди работают для науки неустанно и усердно, но я думаю, что время и труд не только всех этих писателей, но и многих других, не только пропали даром, но были еще и вредны. Вредны, во-первых, тем, что для приготовления этих писаний тысячи других людей делали бумагу, шрифт, набирали, печатали и, главное, кормили, одевали всех этих тружеников науки, и еще тем, что все сочинители эти, вместо того, чтобы чувствовать свою вину перед обществом, как бы они чувствовали ее, если бы они играли в карты или горелки, со спокойной совестью продолжают делать свое никому ненужное дело.

Кто не знает тех безнадежных для истины и часто жестоких людей, которые так заняты, что им всегда некогда, главное — некогда справиться с тем, нужно ли кому-нибудь и не вредно ли то дело, над которым они так усердно работают. Вы говорите им: «Ваша работа бесполезна или вредна потому-то и потому-то, погодите, рассудимте дело»; они не слушают вас и даже с иронией возражают: «Хорошо вам рассуждать, когда нечего делать, а я работаю над исследованием того, сколько раз такое-то слово употреблено таким-то древним писателем, или над определением форм атомов, или над телепатией» и т.п.

Но кроме этого меня всегда уже давно поражало то удивительное, утвердившееся особенно в Западной Европе, мнение, что труд есть что-то вроде добродетели, и еще гораздо прежде, чем прочесть это мнение, ясно выраженное в речи г-на Золя, я уже не раз удивлялся на это странное значение, приписываемое труду.

Ведь только муравей в басне, как существо, лишённое разума и стремлений к добру, мог думать, что труд есть добродетель, и мог гордиться им.

Г-н Золя говорит, что труд делает человека добрым; я же замечал всегда обратное: сознанный труд, муравьиная гордость своим трудом, делает не только муравья, но и человека жестоким. Величайшие злодеи человечества Нерон, Петр 1 всегда были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами с собой без занятий или увеселений.

Но если даже трудолюбие не есть явный порок, то ни в каком случае оно не может быть добродетелью. Труд так же мало может быть добродетелью, как питание. Труд есть потребность, лишение которой составляет страдание, но никак не добродетель. Возведение труда в достоинство есть такое же уродство, каким бы было возведение питания человека в достоинство и добродетель. Значение, приписываемое труду в нашем обществе, могло возникнуть только как реакция

против праздности, возведенной в признак благородства и до сих пор еще считающейся признаком достоинства в богатых и малообразованных классах. Труд, упражнение своих органов, для человека есть всегда необходимость, как о том одинаково свидетельствуют телята, скачущие вокруг кола, к которому они привязаны, и люди богатых классов, мученики гимнастики, всякого рода игр: карт, шахмат, lawn tennis'a и т.п., не умеющие найти более разумного упражнения своих органов.

Труд не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть большею частью нравственно анестезирующее средство вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни,

«Когда мне рассуждать с вами о философии, нравственности и религии, — мне надо издавать ежедневную газету с полмиллионом подписчиков, мне надо организовать войско, мне надо строить Эйфелеву башню, устраивать выставку в Чикаго, прорывать Панамский перешеек, дописать двадцать восьмой том своих сочинений, свою картину, оперу». Не будь у людей нашего времени отговорки постоянного, поглощающего их всех труда, они не могли бы жить, как живут теперь. Только благодаря тому, что они пустым и большею частью вредным трудом скрывают от себя те противоречия, в которых они живут, только благодаря этому и могут люди жить так, как они живут.

И именно в качестве такого средства и представляет г-н Золя труд своим слушателям. Он прямо говорит: «Это только эмпирическое средство прожить честную жизнь и почти спокойную. Но разве этого мало, разве мало того, чтобы приобрести хорошее физическое и моральное здоровье и избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос наибольшего доступного человеку счастья?»

Таков совет, даваемый молодежи нашего времени г-ном Золя!

Совсем другое говорит Дюма.

Вот его письмо, написанное к редактору «Голуа».

Милостивый государь!

Вы спрашиваете моего мнения относительно стремлений, которые, кажется, что обнаруживаются среди школьной молодежи, и относительно споров, которые предшествовали и сопровождали происшествия в Сорбонне. Я предпочел бы не давать своего мнения относительно чего бы то ни было, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет. Люди, которые и прежде были одинакового с нами мнения, останутся в нем еще в продолжение некоторого времени; те, которые были противоположного, будут упорствовать в нем все более и более. Лучше бы было совсем не спорить.

Мнения подобны гвоздям, сказал один моралист из моих приятелей: чем более по ним колотят, тем глубже их вколачивают.

Это не то, чтобы я не имел своего мнения относительно того, что называют великими мировыми вопросами, и относительно различных форм, которыми человеческий ум мгновенно одевает те предметы, о которых он рассуждает. Это мнение такое определенное и такое безусловное, что я предпочел бы сохранить его для своего личного руководства, не имея притязания ничего творить, ничего разрушать. Мне должно бы было возвратиться к тем великим политическим, социальным, философским, религиозным вопросам, и это повело бы нас слишком далеко, если бы я последовал за вами в исследовании незначительных внешних

явлений, вызываемых этими вопросами в каждом новом поколении. В самом деле, каждое новое поколение приходит с мыслями и страстями, старыми как мир, хотя оно думает, что никто не имел их раньше его, потому что оно в первый раз находится под их влиянием, и оно убеждено, что оно вот-вот преобразует все существующее.

В то время, как человечество пытается разрешить в продолжение тысячелетий эту великую задачу причин и следствий, которую оно едва ли разрешит и через тысячи веков, если и допустить, чего я не допускаю, возможность ее разрешения, двадцатилетние дети объявляют, что они имеют неопровержимое разрешение ее в их совершенно молодых мозгах. И как первый довод в первом же споре, они начинают колотить по тем, которые с ними не согласны. Должно ли из этого заключить, что это есть признак возвращения целого общества к религиозному идеалу, временно затемненному и оставленному? Или у всех этих молодых апостолов это есть только чистый физиологический вопрос, вопрос горячности крови, силы мускулов, горячности и силы, которые толкали молодежь двадцать лет тому назад на противоположное движение? Я склоняюсь к последнему предположению.

Тот грубо ошибался бы, кто хотел бы видеть в проявлениях возраста, полного силы, доказательство окончательного развития или хотя бы прочного. Тут есть только припадок лихорадки роста. Какого бы рода ни были те идеи, во имя которых молодые люди колотят друг друга, можно пари держать, что они будут противниками этих идей, как скоро они встретят их в своих детях. Возраст и опыт сделают это.

Многие, многие из воюющих и врагов настоящего часа рано или поздно встретятся на проселочных дорогах жизни отчасти усталые, отчасти разочарованные борьбой с действительностью, и вместе, рука с рукой, вернутся на большую дорогу, с грустью признавая то, что, несмотря на их прежние убеждения, земля осталась круглою и вертится все в том же направлении, и что те же горизонты расстилаются под все тем же бесконечным и закрытым небом.

Вволю поспорив и подравшись, одни во имя веры, другие во имя науки, столько же для того, чтобы доказать, что есть Бог, сколько и для того, чтобы доказать, что Его нет, — два утверждения, насчет которых можно драться вечно, если решать не разоружаться до тех пор, пока не докажут, — они согласятся окончательно, что одни не знают об этом больше, чем другие, но что они твердо знают, что в конце концов человеку нужно надеяться столько же, если и не больше, чем знать, и что он страдает ужасно от неизвестности, в которой он находится, о вещах более всего для него интересных, что он постоянно ищет положения лучшего, чем то, в котором он находится, и что ему надо предоставить полную свободу искать в области философии это средство быть более счастливым.

Перед ним был мир, который был до него и останется после него, и он знает, что мир этот вечен, и что он желал бы участвовать в этой вечности. Раз он был призван к жизни, он требует своей доли в жизни вечной, которая окружает его, возбуждает его, подсмеивается над ним и уничтожает его. Так как он знает, что он начался, он не хочет кончиться. Он громко призывает, он тихим голосом молит о достоверности, которая постоянно ускользает от него для его же счастья, потому что достоверное знание было бы для него неподвижностью и смертью. Так как сильнейший двигатель человеческой энергии есть неизвестное, так как он не может установиться в достоверности, он носится в неопределенных идеалах, и как бы далеко он не отклонялся в скептицизм, в отрицания, вследствие гордости, любопытства, злобы, моды, он всегда возвращается к надежде, без которой он не может жить. Это как ссора влюбленных: ненадолго.

Так что бывает иногда затемнение, но нет никогда полного исчезновения человеческого идеала. Через него проходят философские туманы, как облака перед месяцем, но белое светило продолжает свое шествие и вдруг появляется из-за них нетронутым и блестящим. Эта неудержимая потребность идеала в человеке объясняет то, что человек бросался с таким доверием, с таким восторгом, без разумного контроля в различные религиозные формулы, которые, обещая ему бесконечное, предлагали ему ему сообразно его природе и ставили его в известные рамки, всегда необходимые даже для идеала.

Но вот уже давно при каждой станции движения человечества новые люди выходят из мрака во все большем и большем количестве, в особенности за последние 100 лет, и люди эти во имя разума, науки, наблюдения отрицают истины, объявляют их относительными и хотят разрушить те формулы, которые их содержат.

Кто прав в этом споре? Все — до тех пор покуда все ищут, и никто — как только начинают угрожать. Между истиной, которая составляет цель, и свободным исследованием, на которое всякий имеет право, силе нечего делать, несмотря на знаменитые примеры противного. Сила только удаляет цель, вот и все. Она не только жестока, она бесполезна, что составляет самый большой недостаток в деле цивилизации. Никакой удар кулака, как бы силен он ни был, не докажет ни существования, ни не существования Бога.

И, наконец, та сила, какая бы она ни была, которая сотворила мир, так как он, как мне кажется, все-таки не мог сотвориться сам, сделав нас своими орудиями, удержала за собой право знать, зачем она нас сделала и куда она нас ведет. Сила эта, несмотря на все намерения, которые ей приписывали, и на все требования, которые к ней предъявляли, сила эта, как кажется, желает удержать свою тайну, и потому (я скажу здесь все, что думаю) мне кажется, что человечество начинает отказываться от желания проникнуть ее. Человечество обращалось к религиям, которые ничего не доказали ему, потому что они были различны; обращалось к философиям, которые не более того разъясняли ему, потому что они были противоречивы; оно постарается теперь управиться одно со своим простым инстинктом и своим здравым смыслом, и так как оно живет на земле, не зная зачем и как, оно постарается быть настолько счастливым, насколько это возможно, теми средствами, которые предоставляет ему наша планета.

Недавно Золя в замечательной речи, обращенной к студентам, советовал им как лекарство, даже как панацею против всех затруднений в жизни, — труд. *Labor improbus omnia vincit*.^{*} Лекарство известно, и от этого оно не менее хорошо, но оно всегда было и продолжает быть недостаточным. Пусть работает человек своими мускулами или своим умом, все-таки никогда не может быть его единственной заботой приобретение пищи, наживание состояния или приобретение славы. Все те, которые ограничивают себя этими целями, чувствуют и тогда, когда они достигли их, что им еще недостает чего-то: дело в том, что, что бы ни производил человек, что бы ни говорил, что бы ему ни говорили, он состоит не только из тела, которое надо кормить, и ума, который надо образовать и развивать, у него несомненно есть еще и душа, которая еще заявляет свои требования. Эта-то душа находится в неперестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине. До тех пор, пока она не получит весь свет и не завоеует всю истину, она будет мучить человека.

^{*} Неутомимый труд все побеждает.

И вот — она никогда так не занимала, никогда не налагала с такою силою свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том

воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскивали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало: они составили таким образом общую, коллективную душу с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неуклонно предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее.

Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячества Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это — последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала.

Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого — эти вооружения, эти угрозы, эти гонения; но, если вы взглянете внимательнее, вы увидите, что все это только внешнее. Все это колоссально, но пусто.

Во всем этом уже нет души: она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться, и ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже заражающих, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающее их справедливость великое и искреннее сострадание.

Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это оттого, что я скоро уйду из этого мира, и что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: «Любите друг друга», без рассуждения о том, кто сказал эти слова: Бог или человек.

Спиритуалистическое движение, заметное со всех сторон и которым столько самолюбивых и наивных людей думают управлять, будет безусловно человечно. Люди, которые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены безумием, бешенством любить друг друга. Это сначала, очевидно, не совершится само собой. Будут недоразумения, может быть и кровавые: так уж мы воспитаны и приучены ненавидеть друг друга часто теми самыми людьми, которые призваны научать нас любви. Но так как очевидно, что этот великий закон братства должен когда-нибудь совершиться, я убежден, что наступают времена, в которые мы неуклонно пожелаем, чтобы это совершилось.

А. Дюма 1 июня 1893 года.

Главная разница между письмом Дюма и речью Золя, не говоря уже о внешней разнице, состоящей в том, что речь Золя обращена к молодежи и точно как будто заискивает перед нею (что стало обыкновенным и неприятным явлением нашего времени так же, как и заискивание писателей перед женщинами), письмо же Дюма не обращено к молодежи и не говорит ей комплиментов, а напротив, указывает ей ее всегдашнюю ошибку

самонадеянности, а вследствие этого самого, вместо того чтобы внушать юношам, что они очень важные люди и что в них вся сила, чего они никак не должны думать для того, чтобы сделать что-нибудь путное, научает не только их, но взрослых и старых очень многому, — разница главная в том, что речь Золя усыпляет людей, удерживая их на том пути, на котором они стоят, уверяя их в том, что то, что они знают, и есть то самое, что им нужно знать; письмо же Дюма будит людей, указывая им то, что жизнь их идет совсем не так, как она должна идти, и что они не знают того самого главного, что им нужно знать. Дюма также мало верит в суеверия прошедшего, как и в суеверие настоящего. Но зато, и именно потому, что он не верит ни в суеверия прошедшего, ни в суеверия настоящего, он сам наблюдает, сам думает и потому видит ясно не только настоящее, но и будущее, как видели его всегда те, которых в древности называли *видящими* пророками. Как ни странно это может казаться тем, которые, читая сочинения писателей, видят только внешнюю сторону писания, а не душу писателя, тот самый Дюма, который написал «*Dame aux Camelias*», «*Affaire Clemenceau*»* и др., этот самый Дюма видит теперь будущее и пророчествует о нем. Как ни странно это кажется нам, привыкшим представлять себе пророка в звериной шкуре и в пустыне, пророчество остается пророчеством, несмотря на то, что оно раздается не берегах Иордана, а печатается на берегах Сены в типографии «Голуа», и слова Дюма — действительное пророчество и носят на себе все главные признаки пророчества: во-первых, тот, что слова эти совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они раздаются; во-вторых, тот, что, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашались с ними и, в-третьих, главное, тот, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает.

* «Дама с камелиями», «Дело Клемансо».

Чем люди больше будут верить в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, религией или наукой, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение. И в этом главный недостаток речи Золя. Но, напротив, чем больше они будут верить тому, что предсказывает Дюма, — тому, что неизбежно и скоро наступит то время, когда люди все будут увлечены любовью друг к другу и, отдавшись ей, сами, по своей воле, изменят всю теперешнюю жизнь, — тем скорее наступит это время. И в этом главное достоинство письма Дюма. Золя советует людям не изменять своей жизни, а только усиливать деятельность в раз принятом направлении, и этим внушает им неизменение их жизни. Дюма же, предсказывая внутреннее изменение чувств людей, внушает им его.

Дюма предсказывает, что люди, испробовав все, возьмутся, наконец, — и в очень скором времени — серьезно за приложение к жизни закона «любви друг к другу» и будут, как он говорит, охвачены «безумием, бешенством» любви. Он говорит, что видит уже среди явлений, представляющихся столь угрожающими, признаки этого нового нарождающегося любовного настроения людей, видит, что поголовно вооруженные народы уже не ненавидят друг друга: видит, что в борьбе богатых классов с бедными проявляется уже не торжество победителей, а искреннее сострадание победителей к побежденным и недовольство и стыд перед своей победой; видит, главное, как он говорит, образовавшиеся центры любовного притяжения, нарастающие, как ком снега, и неизбежно долженствующие привлечь к себе все живое, до сих пор еще не присоединившееся к ним, и этим путем изменения настроения уничтожится все то зло, от которого страдают люди.

Я думаю, что если и можно оспаривать близость того переворота, который предсказывает Дюма, или даже самую возможность такого увлечения людей

любовью друг к другу, никто не будет спорить о том, что если бы это случилось, то человечество избавилось бы от большей части всех удручающих его и угрожающих ему бедствий. Нельзя не признать того, что если бы люди делали то, что им предписывали тысячи лет тому назад, не только Христос, но все мудрецы мира, т.е. хотя бы не только любили других, как себя, но не делали бы хоть другим того, чего не хотят, чтобы им делали, что если бы люди вместо эгоизма предались альтруизму, если бы склад жизни из индивидуалистического переменился в коллективистический, как на своем дурном жаргоне выражают ту же самую мысль люди науки, то жизнь людей, вместо того чтобы быть бедственной, стала бы счастливой. Мало того, все признают и то, что жизнь, продолжаемая на тех языческих основах борьбы, на которых она идет теперь, приведет неизбежно человечество к величайшим бедствиям, и что время это уже близко. Все люди видят, что чем больше и энергичнее будут они отнимать друг у друга землю и произведения их труда, тем озлобленнее будут становиться они, и тем неизбежнее рано или поздно отнимут те люди, у которых более всего отнято, у похитителей то, чего их так долго лишали, и жестоко отплатят еще за все перенесенные ими лишения. Все уже давно видят ту до смешного очевидную нелепость взаимного вооружения народов, которое неизбежно должно кончиться если не ужаснейшими и бесконечными побоищами, то всеобщим совершающимся уже разорением и вырождением всех людей, участвующих в этом круге вооружений. Кроме того, все люди нашего мира признают обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека.

Люди знают все это и, несмотря на то, устраивают жизнь свою противно и своей выгоде, и безопасности, и закону, который они исповедуют.

Очевидно, есть какая-то скрытая, но важная причина, мешающая людям исполнять то, что им выгодно, что избавило бы их от очевидной опасности, и что они признают обязательным для себя, религиозным или нравственным законом. Ведь не для того же, чтобы обманывать друг друга, восхваляется среди них уже столько столетий и теперь с тысяч разных религиозных и светских кафедр проповедуется любовь друг к другу. Ведь давно пора бы людям решить, что любовь к ближнему — выгодное, полезное и доброе дело, и на основании ее устроить свою жизнь или, признав, что любовь есть неосуществимая мечта, перестать говорить о ней. Но люди все не делают ни того, ни другого: они продолжают жить противно любви и продолжают восхвалять ее. Очевидно, они верят, что любовь возможна, желательна и свойственна им, но не могут осуществить ее. Отчего же это происходит?

Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли. Какие бы ни происходили внешние перемены в жизни людей, как ни проповедовали бы люди необходимость изменения чувств и поступков, жизнь людей не изменится до тех пор, пока не произойдет перемены в мысли. Но стоит произойти перемене в мысли, и рано или поздно, смотря по важности перемены, она произойдет в чувствах и в действиях, и в жизни людей так же неизбежно, как произойдет поворот корабля после поворота руля.

С первых слов своей проповеди Христос не говорил людям: **поступайте так или этак, имейте такие или иные чувства**; но Он говорил людям: **metanoete** — одумайтесь, измените свое понимание жизни. Он не говорил людям: любите друг друга (это уже Он говорил после своим ученикам, людям, понявшим Его учение); но Он говорил всем людям то же, что говорил его предшественник Иоанн Креститель: **покайтесь, т.е. одумайтесь, измените свое понимание жизни,**

metanoete — одумайтесь, иначе все погибнете, говорил Он. Не может смысл вашей жизни состоять в том, чтобы каждый из вас искал отдельного блага своей личности или блага известной совокупности людей, говорил Он, потому что благо это, приобретаемое в ущерб другим личностям, семьям, народам и ищущим того же и теми же средствами, очевидно не только не достижимо, но неизбежно должно привести вас к гибели. Поймите то, что смысл вашей жизни может быть только в исполнении воли Того, кто послал вас в нее и требует от вас не служения вашим личным целям, а Его цели, состоящей в установлении единения и любви между всеми тварями, в установлении Царства Небесного, когда перекуют мечи на сошники и копыя на серпы и лев будет лежать с ягненком, как выражали это пророки. Измените ваше понимание жизни, иначе все погибнете, говорил Он. Но люди не слушали Христа и не изменили своего понимания жизни тогда, и до сих пор удержали его. И вот это ложное понимание жизни, удерживаемое людьми, несмотря на усложнение форм жизни и развитие сознания нашего времени, и составляет ту причину, по которой люди, понимая всю благодетельность любви, всю опасность жизни, противной ей, признавая ее законом своего Бога или законом жизни, все-таки не могут следовать ей.

И в самом деле, какая же есть возможность человеку нашего мира, полагающему цель своей жизни в своем личном или семейном, или народном благе, добываемом только напряженной борьбой с другими людьми, стремящимися к тому же, среди учреждений мира, узаконивающих всякую борьбу и насилие, — действительно любить тех, которые всегда стоят ему на дороге, и которых он должен неизбежно губить для достижения поставленных им для себя целей?

Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того же, чтобы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остановиться и обратить внимание на то, что ему нужно понять. Чтобы люди, с криком и грохотом колес несущиеся к пропасти, услышали то, что им кричат те, которые хотят спасти их, им надо прежде всего остановиться. А то как же человек изменит свои мысли, свое понимание жизни, когда он, не переставая, будет с увлечением, да еще подгоняемый людьми, которые уверяют его, что это-то и нужно, работать на основании того самого ложного понимания жизни, которое ему нужно изменить?

Страдания людей, вытекающие из ложного понимания жизни, так назрели, благо, даваемое истинным пониманием жизни, так стало всем ясно и очевидно, что для того, чтобы люди изменили свою жизнь сообразно своему сознанию, им не нужно в наше время уже ничего предпринимать, ничего делать, а нужно только остановиться, перестать делать то, что они делают, сосредоточиться и подумать.

Люди нашего христианского мира находятся в том же положении, в котором находились бы люди, надрывающиеся над стягиванием с места легкой тяжести только потому, что они, спеша, не могут сговориться и, не переставая, тянут в противоположные стороны.

Если в прежнее время, когда еще не до такой степени выяснилась бедственность языческой жизни и благо, обещаемое любовью, люди могли бессознательно поддерживать рабство, угнетения, казни, войны и разумными доводами защищать свое положение, то в настоящее время это стало уже совершенно невозможно: люди нашего времени могут жить языческой жизнью, но уже не могут оправдывать ее. Людям нашего христианского мира стоит только на минуту остановиться в своей деятельности, обдумать свое положение, примерить требование своего разума и своего сердца к окружающим их условиям

жизни, чтобы увидеть, что вся жизнь их, все поступки их есть постоянное вопиющее противоречие с их совестью, разумом и сердцем.

Спросите отдельно каждого человека нашего времени о том, чем он руководится и считает нужным руководиться в своей жизни, и почти каждый скажет вам, что он руководится если не любовью, то справедливостью, — скажет вам, что для него лично, признающего или обязательность христианского учения, или нравственные светские принципы, основанные на том же христианстве, не нужны ни насилия, ни суды, ни казни, ни война, и что подчиняется этим условиям жизни потому, что они нужны для других людей; спросите другого, третьего, и почти все скажут то же. И все они искренни. По свойству их сознания большинство людей нашего времени уже давно должны бы жить между собой, как христиане. Посмотрите, как они живут в действительности: они живут, как звери.

Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческой жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянно суетой людей, не дающей им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию.

Стоит людям перестать хоть только на время делать то, что им советуют Золя и его мнимые противники, все те, которые под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок: перестать одурять себя ложными верованиями религии или науки и, главное, неустанным самодовольным трудом над делами, не оправдываемыми их совестью, и они тотчас же увидели бы, что смысл их жизни не может быть в очевидно обманчивом стремлении к одиночному, построенному на борьбе с другими, благу личному, семейному, народному или государственному; увидели бы, что единственный возможный, разумный смысл жизни есть тот, который уже 1800 лет тому назад был христианством открыт человечеству.

Пир уже давно готов, и уже давно все званы на него; но один купил землю, другой женится, третий пробует быков, четвертый строит железную дорогу, фабрику, занят миссионерством в Индии или Японии, читает проповеди, проводит билль «гомруля» или военного закона, или проваливает его, держит экзамен, пишет ученое сочинение, поэму, роман. Всем некогда, некогда очнуться, опомниться, оглянуться на себя и на мир и спросить себя: что я делаю? зачем? Ведь не может же быть того, чтобы та сила, которая произвела меня на свет, с моими свойствами разума и любви, произвела меня с ними только затем, чтобы обмануть, только затем, чтобы я, вообразив себе, что для достижения наибольшего блага своей гибнущей личности я могу распоряжаться как хочу своей и другими жизнями, убедился, наконец, что чем больше я стараюсь делать все это, тем хуже и мне, и семье, и народу, и тем дальше отступаю я и от требований любви и разума, вложенных в меня и ни на минуту не перестающих заявлять свои требования, и от истинного блага. Не может же быть того, чтобы эти высшие свойства моей души были присвоены мне только затем, чтобы они, как колодка на ногах пленника, мешали мне в достижении моих целей. И не вероятнее ли то, что сила, произведшая меня на свет, произвела меня с моим разумом и любовью не для моих случайных, мгновенных, всегда противных целям других существ, целей (чего она и не могла сделать, так как меня и моих целей не было еще, когда она производила меня), а для достижения своей цели, для содействия которой и даны мне эти основные свойства моей души. И потому не лучше ли мне, вместо того, чтобы, упорствуя в следовании своей воле и воле других людей, противных этим высшим свойствам и приводящих меня к бедствиям, раз навсегда признав целью своей жизни исполнение Пославшего

меня во всем и всегда, несмотря ни на какие другие соображения, следовать только тем указаниям разума и любви, которые Он вложил в меня для исполнения Его воли?

Таково христианское понимание жизни, просящееся в душу каждого человека нашего времени. Для того, чтобы осуществилось Царство Божие, нужно, чтобы все люди начали любить друг друга без различия личностей, семей, народностей, Для того, чтобы люди могли так любить друг друга, нужно, чтобы изменилось их жизнепонимание. Для того, чтобы изменилось их жизнепонимание, нужно, чтобы они опомнились; а чтобы они могли опомниться, им нужно прежде всего остановиться хоть на время в той горячечной деятельности во имя дел, требуемых языческим пониманием жизни, которой они предаются; нужно хоть на время освободиться от того, что индийцы называют «сансара», от той суеты жизни, которая более всего другого мешает людям понять смысл их существования.

Бедственность жизни языческой и ясность и распространенность христианского сознания дошли в наше время до такой степени, что людям стоит только остановиться в своей суете, и они тотчас увидят бессмысленность своей деятельности, и христианское понимание само собой так же неизбежно, как неизбежно на морозе замерзает вода, как скоро перестать шевелить ее, сложится в их сознании. А стоит людям усвоить это жизнепонимание, и любовь их друг к другу, ко всем людям, ко всему живому, находящееся теперь в них в скрытом состоянии, так же неизбежно проявится в их деятельности и станет двигателем всех их поступков, как теперь при языческом понимании жизни проявляется любовь к себе, к своей исключительной семье, исключительному народу.

А стоит проявиться этой любви христианской в людях, и сами собой, без малейшего усилия, распадутся старые и сложатся те новые формы благой жизни, отсутствие которых представляется людям главным препятствием к осуществлению того, чего уже давно требуют их разум и сердце.

Только бы люди одну сотую той энергии, которую они прилагают теперь к совершению различных материальных, ничем не оправданных и потому затемняющих их сознание дел, употребили на уяснение этого самого сознания и на исполнение того, чего оно требует от них, и гораздо скорее и проще, чем мы можем себе представить это, установилось бы то Царство Божие, которого Он требует от людей, и люди нашли бы то благо, которое обещано им.

Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам.

9 августа 1893 г.

КАК И ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

Малые дети не думают о том, как жить и зачем жить, а до 2-х, 3-х, 4-х лет живут как зверьки: едят, играют, разминают члены, и только изредка проявляется в них свет разума и любви. Есть люди, которые и до 12, 14, 20, иногда и до 40 лет живут, как неразумные существа, отдаваясь своим страстям, отличаясь от животных только рассуждениями ума о видимых предметах, но не понимая смысла своей жизни и не думая о нем.

Если и находят на таких людей минуты и часы просветления, когда люди эти задумываются о смысле жизни, оглядываются на себя, спрашивают себя: что такое жизнь и зачем они живут так, то, не находя ясных ответов на эти вопросы, минуты и часы эти проходят, не оставляя следов, и люди живут дальше и дальше,

и когда в старости опять задают себе те же вопросы, уже так привыкли к той жизни, которую провели и ведут, так привыкли к тем оправданиям дурной жизни, которые дает себе большинство людей, что не только продолжают жить дурно, но и отгоняют от себя те разумные, вечные ответы на вопросы о том, как жить и зачем жить, которые дает истинная, единая для всех людей религия.

Мало того, что такие люди, живя дурно, сами лишают себя истинного и неотъемлемого у человека блага духовной, согласной с высшим законом, жизни, эти люди, особенно в возмужалости и старости, естественно по своему возрасту и положению руководят общественным мнением, все больше и больше утверждают следующие поколения в несвойственной разумному существу-человеку неразумной, животной жизни.

Несвойственная же людям жизнь производит среди людей все большие и большие страдания.

Вот поэтому и особенно важно то, чтобы наиразумнейшее, а потому и наипонятнейшее объяснение смысла жизни и вытекающего из него направления жизни человеческой было бы известно людям, распространено между ними и внушаемо и детям, и тому огромному большинству, которое, не решая вопросов, подчиняется наиболее распространенному объяснению смысла и вытекающему из него направлению жизни.

В чем же состоит это наилучшее объяснение смысла и вытекающее из него направление жизни, и откуда мы можем узнать его?

Объяснение это дано в религиозном понимании жизни, выраженном и в древних религиях человечества и в тех разъяснениях (преимущественно очищениях) этих религий, которые совершены и совершаются до самого последнего времени людьми религиозными, т.е. имеющими способность видеть и понимать смысл жизни не человечески, не по отношению только к данному месту и времени, а во всем его вечном и всемирном значении.

Жизнь отдельного человека ведь не в чем ином, как в его приближении к смерти, к освобождению от тела, его духовной сущности, во все большем и большем освобождении его духовной природы. В смерти оно свершилось. В жизни оно совершается. И потому, чем дальше идет жизнь отдельного человека, чем более он стареется, тем более освобождается его духовная природа, тем яснее он понимает сущность жизни.

То же самое совершается и в жизни всего человечества.

Обыкновенно мудрость старчества приписывают древности, т.е. временам, отдаленным от нас в прошедшем, и религиозным выражениям древности. Но это несправедливо. Точно так же, как отдельный человек, подвигаясь в жизни, все более и более освобождаясь от страстей, все более и более умудряется, так точно и человечество. Высшая мудрость человечества не за тысячи лет до нас, а теперь, сейчас.

В смысле религиозном, т.е. в объяснении смысла и указания направления жизни, мудрость эта не во временах апостольских, а теперь, среди нас. Она в учениях Руссо, Канта, Чаннинга, в учениях нео-буддистов, нео-браминов, бабистов* и сотен и тысяч людей, понимающих и уясняющих религиозные учения древности: Конфуция, Будды, Исаи, Эпиктета, Христа.

Вот эта-то очищенная мудрость древности и должна дать людям те разумные ответы не вопросы о значении жизни и на наилучшее направление ее, которое необходимо человечеству не только для того, чтобы оно могло пользоваться тем

наибольшим благом, доступным ему в настоящий период его жизни, но и для того, чтобы идти по тому пути, который ему предназначен.

6 Октября 1905 г.

* Бабисты — последователи религиозного учения, возникшего в Персии, известного под именем бабизма и связанного с именем али-Мохаммеда (1820—1850), называвшего себя вратами ("баб") Божественного откровения людям. Возникнув из идеи о периодическом воплощении Божества и грядущем Мессии, который обновит религию, извращенную духовенством, бабизм стремился сочетать религиозную веру с практикой жизни, проникнутой социальным гуманизмом. Он проповедывал братство и равенство народов и всех классов общества, равноправие мужчин и женщин. В Персии бабисты подверглись со стороны власти и духовенства ожесточенному гонению. Очень многие из них были казнены, в том числе и сам Али-Мохаммед. Дальнейшее свое развитие бабизм получил в религиозном учении бехаизма — от имени его основателя Беха-Уллы (1817—1892).

ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

I

Если бы человек после долгого сна, во время которого он забыл все, что было прежде, проснулся в новом незнакомом ему жилище, обитаемом такими же, как и он, существами, людьми и животными, суетящимися, хлопочущими, что-то, не переставая, делающими, то первое, что сделал бы такой человек, — постарался бы понять, кто и зачем поместил его в это новое странное место и что ему делать в этом месте, как употребить те силы, ту потребность деятельности, которые он чувствует в себе. Ответ на эти вопросы и есть то, что называется религией. И без этих ответов нельзя хорошо жить на свете умному человеку.

Кто поместил меня в это странное место?

Не знаю и не могу знать, но наверное знаю, что этот Кто-то — есть, и что Он и поместил меня в этом мире. Знаю это наверное, потому что я не мог по своей воле явиться в этот мир, потому что я никогда не хотел этого, да и не мог хотеть, потому что меня до появления в этот мир как будто бы не было или, по крайней мере, я ничего не помню о том, чтобы я был когда-нибудь прежде. Если я спрошу, когда начался я, настоящий я, то я получу еще менее удовлетворительный ответ. Мне говорят, что я появился несколько лет тому назад из утробы моей матери. Но то, что появилось из утробы моей матери, есть мое тело, — то тело, которое очень много времени не знало и не знает о своем существовании и которое очень скоро, может быть, завтра, будет зарыто в землю и станет землею. То же, что я сознаю своим «я», появилось не одновременно с моим телом.

Это мое «я» началось не в утробе матери и не по выходе из нее, когда отрезали пуповину, и не тогда, когда отняли от груди, и не тогда, когда я начал говорить. Я знаю, что это «я» началось когда-то и вместе с тем я знаю, что это «я» всегда было. Так что я во времени не могу найти своего настоящего «я», буду ли я искать его совсем близко или бесконечно далеко. Я как будто никогда не появлялся, а всегда был и есть и только забыл свою прежнюю жизнь.

Так что я решительно не могу сказать, что я такое. Знаю только то, что я и мое тело не одно и то же.

Второй вопрос: что такое тот мир, в котором, входя в разум, застаю себя?

Мир этот — не моя семья и мой двор, Ермилиных или Толстых в Ясной Поляне, и не дом и двор Бауэров в Баварии, или Шмитов в Англии, или Робинзонов в Огайо, Америке, или Фенханги в китайской деревне или в Пекине, а это весь огромный мир всех людей, населяющих планету Земля и в Сиаме, и в Исландии, и Мадагаскаре, и во всех местах, которые я знаю и о которых не знаю. И мир этот составляют не только те 1500 миллионов людей, которые, как я слышал, населяют теперь землю, но еще и все те миллиарды людей, которые жили до меня во времена известные мне и в продолжение еще многих тысяч лет, во времена неизвестные мне, а также и те люди, которые теперь рождаются, растут и будут жить еще бесконечное количество лет, когда от моих костей не останется никакого признака. Вот эти-то все люди, кроме того, еще бесконечное количество разнообразных пород животных, от микроскопической козявки до слона и бегемотов, и такое же бесконечное количество растений и безжизненных существ не только на планете Земля, но и вне ее, на других планетах и на солнцах и миллионах звезд, на бесконечных расстояниях, окружающих Землю и распространяющихся без конца во времени, — вот это-то составляет тот мир, в котором я появился, и который я увидел, когда во мне пробудился разум.

В этом бесконечном со всех сторон и по времени, и по пространству мире я появился вчера или, по нашему счету, 10, 20, 30, 40, 50 лет тому назад, как я слышал от людей. Поводом моего появления был брак моего отца с моей матерью, и, как я знаю от других людей, я был сначала зародышем, потом младенцем, потом ребенком, юношей, мужчиной. Появился же я, тот я, которого я сознаю собою, я не могу сказать когда. Мне кажется, что я всегда был. Кончусь же — тоже не знаю когда. По наблюдению над людьми и по тому, что случается со всеми, я знаю, что умру, наверное, через 70, 80 лет, знаю, что каждый день, каждый час приближаюсь к смерти, знаю, что могу умереть всякую минуту. Но, несмотря на то, что знаю это, вижу это на всех людях, не верю этому, не верю тому, чтобы мое «я» могло кончиться.

Но если и так, то в этом-то мире я не всегда был. Зачем же я явился в этот мир? И что мне в нем делать?

Что мне со своим крошечным телом и крошечным определенным сроком жизни делать в этом бесконечном по пространству и времени мире?

Самый обыкновенный ответ на этот вопрос, представляющийся человеку, жившему до пробуждения своего разума животной жизнью, в том, что живет он затем, чтобы есть, пить, спать, веселиться, затем вообще, чтобы наслаждаться всеми теми плотскими наслаждениями, которые дает жизнь. Но стоит человеку только оглянуться вокруг себя и подумать о том, что ожидает его, чтобы убедиться в том, что назначением жизни не может быть плотское счастье, потому что такого счастья не может быть для существа, обреченного на борьбу, всякого рода бедствия, болезни и неотвратимую смерть. Какое же может быть счастье при жизни, неизбежно ведущей к слабости, старости, смерти?! И потому ни наслаждение, ни совершенствование своих способностей, ни совершение великого дела, ни даже содействие благу общества не может быть назначением жизни. Все это могло бы быть, если бы не было бесконечного по времени и пространству мира и не было бы смерти. При той же ограниченности и краткости моей жизни среди бесконечного мира по времени и пространству нет и не может быть никакого смысла в делах человеческих. Для чего человеку трудиться ради улучшения жизни, когда вся его деятельность есть незаметная точка среди бесконечного мира, и когда самая жизнь — только мгновение между двух вечностей? И зачем трудиться для улучшения жизни других людей, когда он наверное умрет и не увидит ни этой лучшей жизни, ни благодарности за то, что он

сделал для людей? Да и те, для которых он делал благо, исчезнут так же бесследно.

Так что ответы на мои вопросы, если я серьезно буду спрашивать и серьезно будут отвечать на них, — такие:

1) На первый вопрос: что такое я, ответ тот, что это что-то такое, как будто недавно начавшееся, временное, уничтожающееся и долженствующее совсем скоро уничтожиться, а между тем, одно несомненно существующее, одно то, без чего ничего не существовало бы. И выходит, что я не знаю, что такое я, и вместе с тем — это одно, что я несомненно и лучше всего знаю.

2) Ответ на второй вопрос: что такое тот мир, в котором я застаю себя живущим? — Что-то бессмысленное по своей бесконечности и во времени и в пространстве, что-то такое, что непременно по времени когда-нибудь да началось и когда-нибудь кончится, а между тем, никогда не могло начаться и никогда не может кончиться и при этом по месту тоже непременно где-нибудь кончается, а вместе с тем нигде не может кончиться. Одним словом, что-то или бессмысленное или для меня недопустимое, т.е. я совершенно не знаю, что такое мир, а между тем, окружен им, живу в нем и в нем должен действовать. Это на второй вопрос.

3) На третий вопрос, — что мне делать, — ответ тот, что все, что мне хочется делать для блага того, начавшегося в этом мире и имеющего кончиться в нем существа, которое я считаю собою, — все это напрасно и не имеет никакого смысла. Для того же существа, которое никогда не начиналось и всегда есть и не одно и то же с моим телом, с которым оно связано, — для этого существа ничего не нужно. Так что жизнь моя для меня — для того, что я считаю своим «я», не имеет и не может иметь никакого смысла; не может иметь смысла и для того мира, в котором я живу, и делать мне ни для себя, ни для мира ничего не нужно и нельзя сделать ничего полезного.

Ведь если только забыть свое звание царя, работника, судьи, фабриканта, профессора, ученого, художника, члена семейства, а помнить одно — что я человек, недавно появившийся в этом непонятном мире и очень скоро долженствующий из него исчезнуть, то нет никакой разумной цели в этой жизни, и не стоит ничего делать. Все ничтожно, все ненужно. Все, что будешь делать, все будет бессмысленно, а между тем, пока жив, необходимо нужно что-то делать. Вся жизнь есть деятельность человека в мире, как лошади на колесе. Лошади нельзя не идти и этим самым ходом не двигать колеса. И человеку нельзя не делать чего-нибудь и этой самой деятельностью не участвовать в движении всего мира. Так что, несмотря на то, что для меня, для человека, и для всего мира, как ни поверни, жизнь моя бессмысленна, мне все-таки надо действовать. Какая-то сила поставила меня в такое положение, что я должен действовать не для себя и не для мира, а для чего-то мне непонятного. В этом сознании сущность всякой истинной религии.

Сознание это. говорит то, что есть какая-то сила, пославшая меня в мир. В этом сущность истинной религии. И вот это-то признание той силы, которая послала меня в мир и которую называют Богом, и распутывает все дело, и дает смысл человеческой жизни. Жизнь моя сама по себе непонятна, также непонятна мне и жизнь всего мира. Но я живу и должен действовать по воле какой-то Высшей Силы. И если для меня жизнь моя непонятна и все цели, которые я могу ставить себе или миру, для меня бессмысленны, то жизнь моя и того мира, в котором я живу, не может и не должна быть бессмысленна для той Высшей Силы, которая послала непонятного себе меня в мир и руководит непонятной мне жизнью мира.

Стоит только признать эту Высшую Силу, и все становится ясно: конечные цели моей жизни и жизни мира скрыты от меня, недоступны мне (они не могут быть доступны ограниченному существу). Я и весь мир суть только орудия достижения недоступных мне целей. И смысл моей жизни уже не в конечных, недоступных мне целях, а в исполнении той неизвестной мне цели, для которой я существую: в признании этой Высшей Силы и в служении ей, в признании Бога и в исполнении воли Его.

II

В чем исполнение воли Бога? Учат, что Бог открылся людям или через Моисея или через Христа, через Будду. Это неправда: иногда это заблуждение, иногда обман, но всегда неправда.

Бог нигде сразу не открывал Своей воли, Своего закона одному человеку или собранию людей. Бог открывается всегда всем людям, всем тем, которые ищут Его. Он открывается каждому человеку в его сердце. Всякий человек чувствует в себе Бога, то начало жизни, которое не есть тело, но живет в теле человека и которое не имеет ни веса, ни меры, ни цвета, ни вкуса, ни запаха и которое никогда не начиналось и никогда не кончится. Это начало жизни в человеке ограничено его телом и есть только часть всего. Но по этой части человек может знать все. Все это и есть Бог. Человек чувствует в себе часть этого Всего и потому знает Бога, не может не знать Его.

Ежели же знает Бога, то знает и закон Его. Закон Бога написан не в книге какой-нибудь, а в самой жизни, в судьбе человека. Людям кажется, что они не знают закона или ошибаются в знании закона Бога (одни считают одно, другие другое законом Бога), и только потому, что люди закрывают глаза на свое положение, не хотят видеть его или хотят видеть его не таким, какое оно есть. Если человек придет на станцию железной дороги и, увидав стоящий вагон, войдет в него и, вообразив, что это дом, станет устраивать его для удобного жилья, намереваясь провести в нем жизнь, то он, наверное, будет удивлен и огорчен, когда вагон тронется и доедет до следующей станции и ему велят выйти со всем его устройством и вещами. Человек мог видеть и знать, что вагон не дом, а только средство для переезда и что за переезд надо исполнять положенные условия: платить и вести себя соответственно правилам железной дороги. Большинство людей так же ложно или совсем не понимают своего положения в жизни. И все дело в том, что люди не понимают своего положения. В Евангелии есть притча о виноградарях, в которой рассказывается о том, что один хозяин насадил сад и огородил его, вырыл в нем колодец, построил башню, отдал сад виноградарям (садовникам) с тем, чтобы они давали ему плоды сада. Садовники же, владея садом, вообразили себе, что сад — их собственность, и они ни перед кем ничем не обязаны, и выгнали и даже убили тех послов, которых хозяин послал за плодами. Когда хозяин узнал об этом, он выгнал садовников, так что садовники погубили свою жизнь тем, что не поняли своего положения. То же и с людьми. Только не кто-либо другой, а они сами губят себя. Только ясное понимание своего положения в жизни открывает людям закон Бога. Человек может сказать, что он не знает Бога, но не может сказать, что он не знает закона Бога, потому что закон Бога управляет его жизнью, как жизнью всякого существа, и человек, если и может умом не знать этого закона, не может не чувствовать его.

III

Всем людям хочется жить радостно, в любви и согласии, не болеть, не страдать, не умирать, и все живут в разделении, во вражде друг с другом, все болеют, все страдают и умирают. Отчего это? Зачем Бог сотворил людей так, что все они желают добра, а все мучатся? Отчего это?

Учение Христа отвечает на это: Христос говорил, что Ему жалко людей за то, что они изнурены и разъединены, как овцы без пастуха, и Он призывает их к себе и всем обещает благо. Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня все, что Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Христос говорит людям, что все их бедствия оттого, что они не понимают своего положения, воображают себе не то, что есть, забывают, кто они такие, и что если бы они понимали свое положение и помнили его, то жизнь их была бы не мучение, а радость.

Это высказано в Евангелии много раз, это сказано особенно ясно в притче о виноградарях: хозяин насадил сад, все устроил в нем (сад — это мир, хозяин — это Бог) и отдал сад виноградарям с тем, чтобы они, работая в саду, отдавали ему плоды. Но виноградари забыли то, что сад не их собственный, и что они могут пользоваться плодами его только с тем, чтобы отдавать уговоренное хозяину. И когда хозяин потребовал плодов сада, виноградари не дали плодов, а выгнали послов. Тогда хозяин выгнал их. И они стали несчастны.

Так же несчастны становятся люди, когда они вообразят себе, что жизнь — их собственность, и каждый может делать с ней что хочет, не исполняя того, что от него хотел Бог, давший ему жизнь.

Таланты, так же как и жизнь, даны только затем, чтобы на них работать. Тот, кто не работает в жизни, лишается всего того, что хочет хозяин; тот же, кто работает для Бога, тот получает все больше и больше.

То же сказано в притче об управляющем, которого хозяин оставил в своем доме. Управляющий, вместо того, чтобы заботиться о доме хозяина, стал веселиться и тратить на себя хозяйское добро. И хозяин наказал и выгнал его.

В этих притчах сказано то, чем не должно понимать себя человеку; в притче же о рабе, вернувшемся с поля, показано, как и чем должен себя понимать всякий человек в мире.

«Кто из вас, — сказано в этой притче, — имея раба, пахущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойдя скорее, садись за стол?

Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам.

Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? — Не думаю.

Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали что должны были сделать» (Лука XVII, 7, 8, 9, 10).

Все учение Христа в том, чтобы человек понимал свое положение.

Не понимает его человек, и что бы он ни делал, как бы ни старался устроить свое счастье, ему не может быть хорошо, так же, как не может быть хорошо работнику, не исполняющему условий своего найма.

Только когда человек понимает свое положение, понимает, что он не хозяин своей жизни, а и раб, и сын Божий и потому должен исполнять свои обязанности перед Богом, ему может быть хорошо и в жизни.

Это же самое сказано в словах Евангелия: «Ищите Царствия Божия и правды Его (т.е. того, чего хочет Бог) и все остальное приложится вам» (т.е. все то, что нужно людям для блага их, все получится ими).

Для того чтобы человек получил то благо, которое возможно для него, нужно, чтобы человек не обманывал сам себя и понимал бы свое положение,

В чем же истинное положение человека в мире, и в чем тот обман, который делает человека несчастным?

Обман в том, что люди забывают о смерти, о том, что они в этом мире не живут, а проходят. В этом обмане находятся дети и очень часто взрослые люди. Очень часто взрослые люди даже до старости не думают о смерти, живут так, как будто нет смерти, как будто уверены, что будут жить вечно.

Такие люди только в минуту смерти понимают свое положение и с ужасом, но уже поздно, видят непоправимую ошибку всей своей жизни. Об этом обмане сказано в Евангелии Луки (XII, 16 — 20):

«И сказал им притчу: У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал: вот это сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: Безумный, в сию ночь душу возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»

Животные могут жить так, не думая о смерти, но человек имеет разум и не может жить так. Если он имеет разума на-столько, чтобы предвидеть то, что ему придется кормиться, и для этого собирает хлеб и строит житницу, то он мог подумать и дальше и предвидеть то, что его наверное ожидает смерть в старости и, кроме старости, может постигнуть каждую минуту.

Человек, помнящий о смерти, не может уже жить для блага своего отдельного я.

Единственный смысл, который может придать жизни человек, не забывающий свою смертность, — тот, что он не самостоятельное существо, а только орудие воли Бога. По воле Его появился в этот мир с его бесконечностью во времени и пространстве и должен пробыть в нем некоторое время и навсегда исчезнуть. Если же это так, то очевидно, что жить для устройства своей жизни безумно, и имеет смысл только одно — исполнять волю Того, кто послал в этот мир для целей этой воли. Какая же это цель? Конечной цели я знать не могу, так как она скрывается от меня в бесконечности, но средство достижения ее я могу знать. Средство достижения есть то самое стремление к благу, которое составляет сущность моей жизни, но благо не мое, а благо всего мира. Цель, доступная мне, есть благо всего мира, мое же стремление к благу есть только указание того, что я должен искать для мира.

Так что только ясное понимание положения человека в мире и открывает ему истинную веру в Бога и в закон Его. Из этого сознания своего положения само собою вытекает покорность воле Бога, признание равенства всех людей, любовь к ним и служение им и основные законы жизни: делание другим того, что хочешь, чтобы тебе делали.

Весь закон Бога, вытекающий из сознания своего положения, — в покорности воле Божией и в любви к ближнему и служении ему. В этом основа всякой веры. Это не значит то, что не может быть других многих нужных религиозных правил, которые определяют приложение этого закона к разным случаям жизни. Такие правила есть в книгах Вед, и в буддизме, и в древнееврейских, и в Евангелии, и в последующих нравственных учениях. Таковы заповеди и Моисея, не все, а заповеди: не убий, не прелюбодействуй; таковы заповеди Ману: не лги, не предавайся пьянству; таковы заповеди буддизма о сострадании к животным; таковы великие пять заповедей Христа, охватывающие всю жизнь людей: 1) не гневайся, 2) не предавайся похоти, 3) не клянись, 4) не делай насилия, 5) люби врагов.

Приложение заповедей, вытекающих из основного закона покорности воле Божьей и любви к ближнему, может быть большое, постоянно увеличивающееся по обстоятельствам количество. Тот, кто понял свое положение и усвоил основной закон, вытекающий из этого положения, владеет ключем к религиозно-нравственной истине и сам будет выводить из этого начала нужные ему для его жизни правила — заповеди.

Все дело в том, чтобы не обманывать себя, а знать свое положение в мире. Если только знаешь, понимаешь это положение, знаешь, что нельзя жить для своего блага, а жизнь есть жизнь, только когда принимаешь ее как данную тебе от Бога для служения Ему, что ты слуга, раб, орудие Бога и вместе с тем, сын Его, то жизнь перестает быть бессмысленной, перестает быть страданием, а становится благом и для себя, и для всего мира. Все в этом признании своего положения. Из него и покорность воле Бога, и признание равенства, братства, и любви к ближним, и служение им, и взаимная помощь и радость.

Только бы поняли люди, что смысл их жизни — в служении Богу, и вместо ужаса и страданий теперешней жизни людей установились бы радость и благо наступающего Царства Божия. И все только оттого, что люди перестали заблуждаться и поняли свое настоящее положение.

Братья и сестры, ради своей жизни (важнее ее ведь нет ничего) подумайте об этом. Остановитесь жить. Подумайте о том, что вы, где вы и что вас ожидает. Ведь жизнь, какую мы знаем, — одна. За что же, зачем же погубить ее? Поймите, что все, что представляется нам важным: удовольствия, радости и богатства, отечество, приличие, привычки, слава, — все это ничто в сравнении с главным, истинным назначением жизни, с исполнением воли Бога. Измените свою жизнь и не потому, что это велит кто-нибудь, а потому, что в этом благо ваше и всего мира.

И не верьте ни тем, которые будут говорить вам, что это невозможно, что люди неисправимы, потому что они пали, ни; тем, еще худшим обманщикам, которые скажут, что это невозможно, что люди изменяются и улучшают свою жизнь по законам историческим, социологическим, которые они знают или изучают. Не верьте ни тем, ни другим, а живите во всю силу своей жизни и своего разума, а остальное предоставьте Богу.

Я жил дурно, безумно, так, как все; но; потом, почти 30 лет тому назад, мне открылась истина, и с тех пор жизнь моя стала другая, — спокойная, счастливая, радостная и что дальше, что ближе к смерти, то лучше.

И поверьте, что то же будет и с вами. Не может не быть, потому что жить трудно только противно закону жизни, закону Бога. Жизнь же, согласная с ним, есть непрерывающаяся радость до самой смерти и в самой смерти, как Он и хочет этого. Смерть страшна ведь только тому, кто не верит в Бога или верит в злого Бога, что то же самое. Для того же, кто верит в Бога, в благость Его, и живет в этой

жизни по Его закону, кто испытал благодать Его, для того смерть есть только переход из одного определенного Им состояния (оказавшегося благом) в другое, неизвестное состояние, но] Им же определенное и потому долженствующее быть таким же благом.

НАШЕ ЖИЗНЕПОНИМАНИЕ

Разделяя в общем одно и то же понимание жизни, не совпадающее ни с одним из распространенных религиозных и светских учений, ввиду частых обращений к нам с требованиями, которых мы не можем исполнить, мы считаем желательным, во избежание подобных недоразумений, выразить насколько возможно кратко и ясно наше жизнепонимание и то наше отношение к существующему устройству жизни, которое из него вытекает.

В 1838-м году в Америке было обнародовано Вильямом Ллойдом Гаррисоном заявление, в котором он и его единомышленники оглашали свое исповедание.

Сущность этого заявления сводится к следующим положениям:

Признание одного только царя и законодателя — Бога, а потому отрицание всякого человеческого правительства. Отечеством Гаррисон признает весь мир, соотечественниками — все человечество. Народам не следует ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Отдельным людям в своих личных отношениях также нехорошо нападать или защищать силой. Церковное учение о Божественном установлении всех государств и существующих властей столь же нелепо, как и кощунственно. Власти эти никогда не действовали в духе учения и по примеру Христа, и потому они не могли быть установлены Богом и должны быть упразднены; но не силою, а духовным возрождением людей.

Если войны, как наступательные, так и оборонительные, признаются нехристианскими и незаконными, то и все приготовления к войнам, постоянные армии, военное начальство, присвоения, совершенные военной силой, общая воинская повинность являются нехристианскими и незаконными.

Незаконным и нехристианским является всякий суд, как гражданский, основанный на насильственном принуждении, так и уголовный, основанный на законе Ветхого завета: око за око и зуб за зуб. Этот суд отменен Христом, проповедующим прощение врагам вместо мщения во всех случаях без исключения.

Вследствие этого Гаррисон и его последователи отказываются занимать места в правительственных учреждениях и избирать на эти места других лиц, и вообще служить правительству в какой бы то ни было форме.

История человечества наполнена доказательствами того, что зло может быть уничтожено только добром, а из этого следует истина основного учения Христа о непротивлении злу насиліем. Поэтому Гаррисон, отрицая революционное учение с его проповедью насилия, отрицает насильственную борьбу с существующим правительством, противоречащую требованиям Евангелия.

Со времени обнародования этого заявления прошло 70 лет, и мы теперь, в 1907 году, вполне разделяя основы, выраженные в нем, можем прибавить к этому заявлению только следующее:

1. Мы полагаем, что сущность нашей жизни не в нашем теле, подверженном страданиям и неизбежной и всегда близкой, смерти, а в том духовном начале, которое дало и дает жизнь человеку. И потому назначение и благо жизни нашей мы видим только во все большем и большем сознании и проявлении этого духовного начала..

2. А так как это духовное начало, в противность телесности, различной для всех

людей, одно и то же для всего живого, то и сознание этого начала соединяет нас со всем живущим и в жизни нашей проявляется любовью.

3. И потому любовь к ближнему, как к самому себе, и вытекающее из этого правило — поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, — мы признаем духовным законом нашей жизни.

4. Зная же по опыту, что всякое стеснение свободы посредством насилия причиняет страдания и, кроме того, вызывает в людях недобрые, противные любви чувства, мы всякого рода насилия, совершаемые над людьми как отдельными лицами, так и собраниями людей, называющих себя правительствами, признаем противными основному закону нашей жизни.

5. И потому, признавая единственной силой, сдерживающей людей и приводящей их к мирной жизни, — закон любви, основы которого лежат в душе каждого человека, мы:

Во 1-х, не признаем ни за какими людьми, ни собранием людей, права насилием или под угрозой насилия отбирать имущество одних людей и передавать его другим (подати).

Во 2-х, не признаем ни за собой, ни за другими людьми права насилием защищать исключительное право пользования какими бы то ни было предметами, а тем менее исключительное право пользования некоторыми частями земли, составляющей общее достояние всех людей.

В 3-х, не признаем ни за собой, ни за какими людьми права насильно привлекать к суду других людей и лишать их имущества, ссылать, заточать в тюрьмы, казнить.

В 4-х, не признаем ни за какими людьми, как бы они ни называли себя, — монархами, конституционными или республиканскими правительствами, — права собирать, вооружать и приучать людей к убийству, нападать на других людей и, объявив людям другой народности войну, разорять и убивать их.

В 5-х, не признаем ни за собой, ни за какими людьми права под видом церкви или каких-либо воспитательных, образовательных и мнимо просветительных учреждений, поддерживаемых средствами, собранными насилием, руководить совестью и просвещением других людей.

В 6-х, не признавая ни за какими людьми, называющими себя правительствами, права управлять другими людьми, мы точно так же не признаем и за неправительственными людьми права употреблять насилия для ниспровержения существующего и установления какого-либо иного, нового правительства.

Не признаем этих прав ни за кем, потому что всякое насилие по существу своему противно признаваемому нами основному закону человеческой жизни — любви. При победе одного насилия над другим остается победившее насилие и точно так же, как и прежние, вызывает против себя новое насилие, и так без конца.

Не признавая таких прав ни за какими людьми, мы считаем и все деятельности, основанные на этих мнимых правах, вредными и неразумными, и потому не только не можем участвовать в таких деятельности или пользоваться ими, но всегда будем всеми силами бороться против них, стараясь уничтожить их в самом их основании.

В 7-х, уничтожить же эти ложные и вредные деятельности в самом их основании мы считаем возможным только одним средством: проявлением нами в своей жизни того высшего закона любви, который мы признаем единственным и несомненно верным руководством человеческой жизни.

В 8-х, и потому все наши усилия, вся наша деятельность будет иметь только одну цель — проявление в нашей жизни, насколько это будет в наших силах, того закона любви, который вернее всяких других средств уничтожает зло теперешнего устройства жизни и все более и более приближает установление истинного братства людей, которого так жадно ждет в наше время истстрадавшееся человечество.

Мы верим, что Царство это близко, «при дверях».

Мысли, выраженные в этом заявлении, так же, как и в провозглашении *Гаррисона*, не новы. Все это было много и много раз сказано и мудрецами, и браминами, и буддистами, и китайцами, и, в особенности, одним из их мудрецов, Ми-ти, проповедовавшем любовь вместо насилия, и Сократом, и стоиками, и более всего ясно и определенно — Христом (не в павловском, квазихристианском, церковном учении, извращающем истинное христианство, а в истинно христианском учении — в Нагорной проповеди). Высказывались подобные истины и проповедовались и эбионитами, и эссениянами, и катарами, и альбигойцами, и моравскими братьями, и квакерами, и назаренами, и персидскими бабистами, и духоборами, и сотнями и тысячами людей, исповедовавших и исповедующих те же истины.

Но до сих пор все эти ясные, простые и неопровержимые истины, истины, наверно дающие людям вместо страдания истинное благо, — не изменяли устройства человеческих обществ, и жизнь большинства людей продолжала идти по-прежнему.

Учение всех этих мудрых людей вело к той истине, что для того, *чтобы не было того зла, от которого люди так жестоко страдают, надо перестать делать его*. Что, казалось бы, могло быть проще, понятнее и убедительнее этого? Казалось бы, что для того, чтобы понять и исполнять это, нужно так же мало усилия, как для того, чтобы дышать. Усилие, казалось бы, нужно только для того, чтобы не делать этого. А между тем, эту простую истину говорили сотни, тысячи лет люди, признаваемые величайшими мудрецами мира, и человечество все-таки не понимало и не принимало этой истины и продолжает жить так, как будто она совершенно неизвестна ему.

Отчего это?

А оттого же самого, отчего умный, хороший, добрый юноша слышит слова мудрости людской, призывающей его к труду, к воздержанию, к чистоте, к доброте, слышит слова эти, но ни на мгновение не останавливает на них свое внимание, не применяет их к своей жизни. Молодой человек прежде всего живет своими животными и полуживотными страстями, охватывающими его со всей силой новизны и еще поддерживаемыми и разжигаемыми внушениями толпы людей, окружающих его и призывающих его к подражанию. Мало того, если он задумывается хоть на минуту о правильности пути, по которому он идет, ему

тотчас же предлагают не те старые, вечные истины, которые осуждают его жизнь, а такие теории, по которым ему можно, продолжая жить так, как он живет, — праздно, невоздержанно, нецеломудренно, враждебно к людям, честолюбиво, — быть уверенным, что он живет именно так, как свойственно жить разумным людям. И, усвоив какую-либо из этих теорий: церковную, политическую, экономическую, научную, и держась за нее, как за якорь спасения, молодой человек живет, мужает и все больше и больше укрепляется в своем образе жизни. Образ жизни поддерживает теорию, теория поддерживает образ жизни. И чем дальше он живет так, тем все более и более усложняются условия его жизни, и все труднее и труднее становится ему, если бы он и захотел, вернуться к тем простым и нужным жизненным истинам, которые он слышал в своей юности, не внимая им. И живет он так до тех пор, пока страдания, неизбежно связанные с такой жизнью, не приведут его, наконец, к той самой простой и старой истине, которую он знал сначала, что *для того, чтобы жизнь была хорошая, есть только одно средство: надо жить хорошо*. И человек, если он еще не безвозвратно погубил себя, изменяет свою жизнь и обыкновенно делает неполно и в конце жизни то, что было бы легко, так полно и хорошо сделать сначала.

Таков путь приближения к истине отдельных людей. Путь этот кажется странен. Казалось, как просто бы было людям не делать всех тех бесцельных для своей жизни ошибок и сразу поверить истине. Но это только кажется так. Ошибки эти необходимы, так как всякая одним головным путем приобретенная истина только для редких людей может быть руководством поступков. Для большинства истина только тогда истина, когда она подтверждена своим личным мучительным опытом. Только тогда истина — истина для большинства, когда ясно, что отступление от нее есть страдание, когда истина и благо совпали.

А так как таково свойство большинства людей, то таково свойство и всего человечества.

Все человечество естественно живет сначала (с того начала, которое видно нам) своими животными, полуживотными влечениями. И точно так же, как и у отдельного человека, сила этих влечений увеличивается их новизной. И точно так же, как и для отдельного человека, редкие голоса мудрецов, указывающих на истинный смысл жизни, не воспринимаются большинством, точно так же увлеченным новизной и внушением. И так же, как и для отдельного человека, появляются подставные, ложные теории (большею частью извращенные учения мудрых людей, как все церковные и научные учения). И все это ложные учения, потакая страстям людей, все дальше и дальше отвлекают их от истины. И точно так же, как для отдельного человека трудность изменения жизни увеличивается теми условиями, которыми связывает себя человек в ложно прожитом прошлом, так и для человечества, отступившего от истины, трудность увеличивается тем, что на ложном пути, по которому веками шло человечество, совершено им.

В этом и лежит причина того странного явления, что люди, зная простую, ясную истину, которая спасает их, живут так, как будто эта истина никогда никому не была известна. Причина этого и в тех ложных теориях, извращающих и религию, и науку, и в тех делах, которые наделало человечество во время своей ложной жизни. Человечество, живя ложной жизнью на основании ложных теорий, наделало так много ложного и ненужного и в духовной, и в материальной областях, что оно теперь никак не может решиться последовать простым и ясным и понятным ему истинам, следование которым сделало бы ненужным почти все то, что с таким трудом, усердием и рвением наделано им. Все эти воздушные дороги, 36-этажные дома, броненосцы, парламенты и все то, что называется

наукой и искусством, всякие никому ни на что ненужные открытия и исследования со всеми утонченностями, — все это кажется так важно, что отказаться от всего этого, или рисковать лишиться хотя части этого, кажется людям нашего времени невозможным и безумным риском. Люди на пути своем подошли к реке. Мудрейшие из них знают, что путь идет через реку, что дом на той стороне и что надо переходить реку. В том месте, в котором люди подошли к реке, река не широка и не глубока, и надо небольшое усилие, чтобы перейти ее. Но люди не хотят (сделать этого усилия, и кроме того, среди (них находятся люди, которые уверяют их, [что можно и не делать этого усилия и не | входить в реку. И люди идут вниз по течению, отыскивая перехода, и что дальше идут, то шире и глубже река. Люди смутно чувствуют, что, идя вниз по течению, они не найдут перехода, но им так жалко всего того, что они прошли, что они продолжают уверять себя, что река скоро перестанет течь или случится чудо, как для израильтян, и они перейдут посуху. Но река становится все шире и шире и заливаает берег и людей, идущих по нему.

С самых древних времен мудрые люди постигли ту истину, что устройство человеческой жизни может основываться только на любви и на вытекающем из любви добровольном служении людей друг другу, и что поэтому существующий способ устройства человеческих обществ на насилии — способ ложный, и что попытки уничтожить насилие насилием есть очевиднейшее заблуждение, и что уничтожить насилие можно только тем, чтобы не делать насилия. Казалось бы, истину эту нельзя не понимать, но люди не верят тому, что ясно, и что говорят им их мудрецы и здравый смысл, а верят тем людям, которым выгодно насилие. Верят потому, что для воздержания от насилия нужно хоть и небольшое, но нужно усилие, для подчинения же насилию и участия в нем не нужно никакого.

Так шло дело с самых древних времен, так шло дело и в средние века, так же шло дело и в новые времена, так же идет и теперь.

Люди продолжают мучить себя и метаться по этой стороне реки, все еще надеясь, что река перестанет течь, и воды расступятся. Но всему есть предел, и люди в наше время подошли к этому пределу. Бедственность, безумие, глупость и злобность той жизни, которая ведется теперь людьми, пытающимися уничтожить зло злом, становится все очевиднее и очевиднее, и людей, понимающих невозможность продолжения такой жизни, становится все больше и больше.

И мы думаем, что человечество теперь, именно теперь, в 1907 году от рождения Христова, своей дошедшей до последней степени путаницей и утонченностью ненужных знаний, своим разделением и озлоблением, своими страданиями — доведено, наконец, до необходимости понять и принять ту старую, давно провозглашенную людям и известную всем простую и ясную истину, что человек — существо, обладающее духовным сознанием, — может и должен основывать свою жизнь не на грубой силе, как животное, а только на вытекающем из духовного сознания свойстве любви, которое одно может дать всем людям то благо, стремление к которому составляет основу их жизни.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Выводы, к которым я пришел относительно благотворительности, следующие:

Я убедился, что нельзя быть благотворителем, не ведя вполне добрую жизнь, и тем более нельзя, ведя дурную жизнь, пользуясь условиями этой дурной жизни, для украшения этой своей дурной жизни делать экскурсии в область благотворительности. Я убедился, что благотворительность тогда только может удовлетворить и себя, и требованиям других, когда она будет неизбежным последствием доброй жизни; что требования этой доброй жизни очень далеки от тех условий, в которых я живу. Я убедился, что возможность благотворить людям есть венец и высшая награда доброй жизни, и что для достижения этой цели есть длинная лестница, на первую ступень которой я даже и не думал вступать. Благотворить людям можно только так, чтобы не только другие, но и сами бы не знали, что делаешь добро, — так, чтобы правая рука не знала, что делает левая; только так, как сказано в учении 12 апостолов: чтобы милостыня твоя потом выходила из твоих рук, так, чтобы ты и не знал, кому ты даешь. Благотворить можно только тогда, когда вся жизнь твоя есть служение благу. Благотворительность не может быть целью, — благотворительность есть неизбежное последствие и плод доброй жизни. А какой же может быть плод на сухом дереве, у которого нет ни живых корней, ни живой коры, ни сучьев, ни почек, ни листьев, ни цветку?

Можно привесить плоды, как яблоки и апельсины на ленточках к рождественской елке, но елка не станет от этого живою и не будет родить апельсинов и яблок. Прежде чем думать о плодах, нужно укоренить дерево, привить и возрастить его. А чтобы укоренить, привить и возрастить дерево добра, о многом надо подумать и над многим потрудиться, прежде чем радоваться на плоды добра, которые мы будем давать другим. Можно раздавать чужие плоды, наве-, шенные на сухое дерево, но тут нет ничего, похожего даже на добро.

Надо многое и многое сделать прежде.

О ВОСПИТАНИИ*

* Ответ на письмо В.Ф. Булгакова.

Постараюсь исполнить ваше желание — ответить на ваши вопросы.

Очень может быть, что в моих статьях о воспитании и образовании, давнишних и последних, окажутся и противоречия, и неясности. Я просмотрел их и решил, что мне, да и вам, я думаю, будет легче, если я, не стараясь отстаивать прежде сказанное, прямо выскажу то, что я теперь думаю об этих предметах.

Это для меня будет тем легче, что в последнее время эти самые предметы занимали меня.

Во-первых, скажу, что то разделение, которое я в своих тогдашних педагогических статьях делал между воспитанием и образованием — искусственно. И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно. И потому, не касаясь этого подразделения, буду говорить об одном образовании, о том, в чем, по моему мнению, заключаются недостатки существующих приемов образования, и каким оно, по моему мнению, должно быть, и почему именно таким, а не иным.

То, что свобода есть необходимое условие всякого истинного образования как для учащихся, так и для учащихся, я признаю, как и прежде, т.е. что угрозы наказаний и обещания наград (прав и т. п.), обуславливающие приобретение тех или иных знаний, не только не содействуют, но более всего мешают истинному образованию.

Думаю, что уже одна такая полная свобода, т.е. отсутствие принуждения и выгод как для обучаемых, так и для обучающихся, избавило бы людей от большой доли тех зол, которые производит теперь принятое везде принудительное и корыстное образование. Отсутствие у большинства людей нашего времени какого бы то ни было религиозного отношения к миру, каких либо твердых нравственных правил, ложный взгляд на науку, на общественное устройство, в особенности, на религию, и все вытекающие из этого губительные последствия, — все это порождено в большой степени насильственными и корыстными приемами образования.

И потому, для того чтобы образование было плодотворно, т.е. содействовало бы движению человечества к все большему и большему благу, нужно, чтобы образование было свободно. Для того же, чтобы образование, будучи свободно как для учащихся, так и для учащихся, не было собранием произвольно выбранных, ненужных, несвоевременно передаваемых и даже вредных знаний, нужно, чтобы у обучающихся, так же, как и у обучаемых, было общее и тем, и другим основание, вследствие которого избирались бы для изучения и для преподавания наиболее нужные для разумной жизни людей знания и изучались бы, и преподавались бы в соответственных их важности размерах. Таким основанием всегда было и не может быть ничто иное, как одинаково свободно признаваемое всеми людьми общества, как обучающими, так и обучающимися, понимание смысла и значения человеческой жизни, т.е. религии.

Так это было прежде, и так это есть теперь там, где люди соединены одним общим религиозным пониманием жизни и верят в него. Так это было и сотни лет тому назад в христианском мире, когда все, за малыми исключениями, верили в церковную христианскую веру. Тогда у людей было твердое, общее всем, основание для выбора предметов знаний и распределения их, и потому не было никакой нужды в принудительном образовании.

Так это было за сотни лет. Но в наше время такой общей большинству людей христианского мира веры уже нет; в наше время самое влиятельное сословие, людей науки, руководящее общественным мнением, не признавая христианства в том виде, в котором оно преподается церквами, не верит уже ни в какую религию. Мало того, так называемые эти передовые люди нашего времени вполне уверены в том, что всякая религия есть нечто отсталое, пережитое, когда-то бывшее нужным человечеству, теперь же составляющее только препятствие для его прогресса, и старательно, прямыми и обходными приемами, уверяют в этом слепо верящее им молодое поколение, стремящееся к образованию. Поддерживают же церковное учение только люди правительственные и то только внешним образом, и в той мере, в которой такая вера в народе полезна для их целей.

Так что в наше время и в нашем мире, при отсутствии общей большинству людей религии, т.е. понимания смысла и назначения человеческой жизни, т.е. при отсутствии основы образования, невозможен какой бы то ни было определенный выбор знаний и распределение их. Вследствие этого-то отсутствия всякой разумной основы, могущей руководить образованием, и, кроме того, вследствие возможности для людей, находящихся во власти, заставлять молодые поколения обучаться тем предметам, которые им кажутся выгодными, и

находится среди всех христианских народов образование в таком превратном и жалком, по моему мнению, положении.

Количество предметов знания бесконечно, и так же бесконечно то совершенство, до которого может быть доведено каждое знание. Сравнить область знания можно с выходящими из центра сферы бесконечного количества радиусами, могущими до бесконечности быть удлиненными. И потому совершенство в деле образования достигается не тем, чтобы учащиеся усвоили очень многое из случайно избранной области знания, а тем, чтобы, во-первых, из бесконечного количества знаний прежде всего были переданы учащимся знания о самых важных и нужных предметах, а во-вторых, тем, чтобы знания эти были доведены до относительно одинаковой степени, так, чтобы передаваемые знания, подобно одинаковой длины и одинаково равномерно друг от друга отделенным радиусам, определяющим сферу, составляли бы гармоничное целое.

Такой выбор знаний и такое распределение их было возможно в европейском мире, пока люди верили в ту, какую бы то ни было, форму христианской религии, которая соединяла их. Теперь же, когда у большинства веры этой уже нет, вопрос о том, какие знания вообще полезны, какие могут быть вредны, какие нужны прежде, какие — после, и до какой степени должны быть доводимы те или другие, уже не имеет никакого основания для своего решения и решается как попало и совершенно произвольно теми людьми, которые имеют возможность насильственно передавать те или иные знания, — вопрос решается так, как это для них в данное время наиболее удобно и выгодно.

Вследствие этого-то и произошло в нашем обществе то удивительное явление, что, продолжая сравнение со сферой, в нашем обществе знания распределяются не только не равномерно, но в самых уродливых соотношениях; некоторые радиусы достигают самых больших размеров, другие же — вовсе не обозначены. Так, например, люди приобретают знания о расстояниях, плотности, движениях на миллиарды верст от нас отстоящих звезд, о жизни микроскопических животных, о воображаемом происхождении организмов, о грамматике древних языков и тому подобный вздор; а не имеют ни малейшего понятия о том, как живут и жили их братья-люди, не только отделенные от них морями и тысячами миль и веками, но и люди, живущие сейчас с ними рядом, в соседнем государстве: чем питаются, как одеваются, что работают, как женятся, воспитывают детей, каковы их обычаи, привычки и, главное, верования. Люди узнают в школах все об Александре Македонском, о Людовике XIV и его любовницах; знают о химическом составе тел; об электричестве; радиэ; о целых так называемых «науках» — о праве и богословии; подробно знают о повестях и романах, написанных разными, считающимися «великими» писателями и т.п.; знают о совершенно ни на что ненужных и, скорее, вредных пустяках, а ничего не знают о том, как понимали и понимают смысл своей жизни, свое назначение, и какие признавали и признают правила жизни миллиарды живших и живущих людей — две трети всего не христианского человечества.

От этого-то и происходит то удивительное в нашем мире явление, что люди, считающиеся среди нас самыми образованными, суть, в сущности, люди самые невежественные, — знающие множество того, чего никому не нужно знать, и не знающие того, что прежде всего нужно знать всякому человеку. И мало того, что люди эти грубо невежественны, они еще и безнадежно невежественны, так как вполне уверены, что они очень ученые, образованные люди, т.е. знают все то, что, по их понятиям, нужно знать человеку.

Происходит это удивительное и печальное явление от того, что в нашем, так называемом христианском, мире не только опущен, но отрицается тот главный

предмет преподавания, без которого не может быть осмысленного приобретения каких бы то ни было знаний. Опущена и отрицается необходимость религиозного и нравственного преподавания, т.е. передачи молодым поколениям учащихся тех, с самых древних времен данных мудрейшими людьми мира, ответов на неизбежно стоящие перед каждым человеком вопросы: первое — что я такое, какое отношение мое, моей отдельной жизни ко всему бесконечному миру, и второе — как мне, сообразно с этим моим отношением к миру, жить, что делать нечего не делать?

Ответы же на эти два вопроса — религиозное учение, общее всем людям, и вытекающее из него учение нравственности, тоже одинаковое для всех народов, — ответы эти, долженствующие составлять главный предмет всякого образования, воспитания и обучения, отсутствуют совершенно в образовании христианских народов. И еще хуже, чем отсутствуют, — заменяются в нашем обществе самым противным истинному религиозному и нравственному обучению собранием грубых суеверий и плохих софизмов, называемых законом Божиим.

В этом, я полагаю, главный недостаток существующих в нашем обществе приемов образования. И потому, думаю, что для того, чтобы в наше время образование было не вредно, каково оно теперь, в основу его должны непременно быть поставлены эти отсутствующие в нашем образовании два самые главные и необходимые предмета: религиозное понимание жизни и нравственное учение.

Об этом самом предмете я писал в составленном мною «Круге чтения» следующее:

«С тех пор, как существует человечество, всегда у всех народов являлись Учителя, составлявшие науку о том, что нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Эта-то наука и служит руководящей нитью в определении значения всех других знаний.

Предметов наук *бесчисленное* количество; и без знания того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве предметов, и потому, без этого знания, все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной, а если праздной, то и вредной забавой.

Единственное объяснение той безумной жизни, противной своему сознанию, которую ведут люди нашего времени, заключается именно в этом, — в том, что молодые поколения обучаются бесчисленным, самым сложным, трудным и ненужным предметам; не обучаются только тому, что одно нужно, — тому, в чем смысл человеческой жизни, чем она должна быть руководима, и что думали об этом вопросе, и как решили его мудрейшие люди всех времен и всего мира».

Скажут: «Нет такого общего большинству людей религиозного учения и учения нравственности». Но это неправда, — во-первых, потому, что такие общие всему человечеству учения всегда были и есть, и не могут не быть, потому что условия жизни всех людей, во все времена и везде одни и те же; во-вторых, — потому, что во все времена среди миллионов людей всегда мудрейшие из них отвечали людям на те главные жизненные вопросы, которые стоят перед человечеством.

Если некоторым людям нашего времени кажется, что таких учений не было и нет,

— то происходит это только от того, что эти люди принимают те затемнения и извращения, которыми во всех учениях скрыты основные религиозные и

нравственные истины, за самую сущность учений. Стоит только людям серьезно отнестись к вопросам жизни, и одна и та же — и религиозная, и нравственная — истина во всех учениях, от Кришны, Будды, Конфуция до Христа, Магомета и новейших религиозных мыслителей, откроется им.

Только при таком разумном религиозно-нравственном учении, поставленном в основу образования, может быть и разумное, и не вредное людям, а разумное образование. При отсутствии же такой разумной основы образования не может и быть ничего другого, как только то, что и есть теперь, — нагромождение пустых, случайных, ненужных знаний, называемых наукой, которые не только не полезны, но приносят величайший вред людям, скрывая от них необходимость одних нужных человеку знаний.

Нравится нам это или не нравится, разумное образование возможно только при постановке в основу его учения о религии и нравственности.

Продолжая сравнение с радиусами, проводимыми из центра, учение о религии и нравственности, по отношению ко всем другим знаниям, подобно тем трем взаимно перпендикулярным диаметрам, которые определяют, направление и соотношение всех радиусов сферы и ту степень длины, до которой они могут быть доведены для того, чтобы они составляли гармоническое целое — сферу.

И потому я полагаю, что первое и главное знание, которое свойственно прежде всего передавать детям и учащимся взрослым, — это ответы на вечные и неизбежные вопросы, возникающие в душе каждого приходящего к сознанию человека. Первый: что я такое и какое мое отношение к бесконечному миру? И второй, вытекающий из первого: как мне жить, что считать всегда, при всех возможных условиях, хорошим, и что, всегда и при всех возможных условиях, — дурным?

Ответы на эти вопросы всегда были и есть в душе каждого человека, разъяснение же ответов на эти вопросы не могло не быть среди миллиардов прежде живших и миллионов живущих теперь людей. И оно действительно есть в учениях религии и нравственности, не в религии и учении нравственности какого-либо одного народа известного места и времени, а в тех основах религиозных и нравственных учений, которые одни и те же высказаны всеми лучшими мыслителями мира от Моисея, Сократа, Кришны, Эпиктета, Будды, Марка Аврелия, Конфуция, Христа, Иоанна Апостола, Магомета до Руссо, Канта, персидского Баба, индусского Вивекананда, Чаннинга, Эмерсона, Рескина, Сквороды и др.

И потому думаю, что до тех пор, пока эти два предмета не станут в основу образования, не может быть никакого разумного образования.

Что же касается дальнейших предметов знания, то думаю, что порядок их преподавания выяснится сам собой, при признании основой всякого знания учения о религии и нравственности. Весьма вероятно, что при такой постановке дела первыми, после религии и нравственности, предметами изучения будут жизнь и проблемы людей самых близких: своего народа, богатых, бедных классов, женщин, детей, их занятий, средств существования, обычаев, верований, мирозерцания. После изучения жизни своего народа, думаю, что, при правильной постановке дела образования, столь же важным предметом будет изучение жизни других народов, более отдаленных, их религиозных верований, государственного устройства, нравов, обычаев.

Оба эти предмета, точно так же, как и религиозно-нравственное учение, совершенно отсутствуют в нашей педагогике и заменяются географией,

изучением названий мест, рек, гор, городов, и историей, заключающейся в описании жизни и деятельности правителей и, преимущественно, их войн, завоеваний и освобождений от них.

Думаю, что, при постановке в основу образования религии и нравственности, изучение жизни себе подобных, т.е. людей, — то, что называется этнографией, — займет первое место, и что точно так же, соответственно своей важности для разумной жизни, займут свои соответствующие места зоология, математика, физика, химия и другие знания.

Думаю так, но не берусь ничего утверждать о распределении знаний. Утверждаю же я только одно, то, что без признания основным и главным предметом образования религии и нравственности не может быть никакого разумного распределения знаний, а потому, и разумной, и полезной для обучающихся передачи их.

При признании же основой образования религии и нравственности и при полной свободе образования все остальные знания распределятся так, как это им свойственно, сообразно тем условиям, в которых будет находиться то общество, в котором будут преподаваться и восприниматься знания.

И потому полагаю, что главная и единственная забота людей, занятых вопросами образования, может и должна состоять прежде всего в том, чтобы выработать соответственное нашему времени религиозное и нравственное учение и, выработав таковое, поставить его во главе образования. В этом, по моему мнению, в наше время состоит первое и, пока оно не будет сделано, единственное дело не только образования, но и всей науки нашего времени, не той, которая вычисляет тяжесть той звезды, вокруг которой вращается солнце, или исследует происхождение организмов за миллионы лет до нашего времени, или описывает жизни императоров, полководцев, или излагает софизмы богословия или юриспруденции, а той одной, которая есть точно наука, потому что нужна действительно людям. Нужна же людям потому, что, наилучшим образом отвечая на те, одни и те же вопросы, которые везде и всегда ставил и ставит себе всякий разумный человек, вступающий в жизнь, она содействует благу как отдельного человека, так и всего человечества.

Вот все, что имел сказать. Буду рад, если это пригодится вам.

*Ясная Поляна.
1 мая 1909 года.*

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ?

(Из беседы с народными учителями)

Школьное дело такое, что оно может быть не только не полезным, но одним из самых вредных и дурных дел, может быть и самым пустяшным делом, может быть и одним из самых полезных дел, которому могут посвятить свою жизнь люди.

Самым вредным дело это будет тогда, когда учитель будет поддерживать то направление, в котором ведутся школы.

Пустьшным оно будет, когда учитель, не поддерживая существующее направление и не противодействуя ему, ограничится одним внешним, механическим обучением арифметики, грамматики, орфографии.

Полезным и одним из самых хороших дел оно будет тогда, когда учитель, по мере сил своих, будет внушать детям истинно нравственные, основанные на религиозных христианских началах, убеждения и привычки.

Когда я занимался в своей школе, я поступал так:

Прежде всего я прочитывал ученикам из Евангелия Матфея гл. XXII, стихи 35-40:

«И один из них, искушая его, спросил, говоря: Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим.

Сия есть первая и наибольшая заповедь.

Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.

На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

Прочтя стихи эти, я просил их повторить прочтенное. Лучшие ученики повторяли сущность прочитанного.

— Понятно? — спрашиваю.

— Понятно.

— Стало быть, закон Христов короткий и понятный. Как думаете, можно по нему жить, жить так, чтобы любить Бога и ближнего?

— Отчего ж, можно, — говорят некоторые.

— Что значит, — спрашиваю, — любить Бога?

Большей частью молчат. Тогда я говорю им то, что сказано в 1-м послании Иоанна о любви к Богу. Читаю гл. IV, 20:

«Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»

Так и сказано (читаю гл. IV, 8): «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

— Стало быть, любить Бога — значит, стараться быть в любви со всеми.

В этом первая заповедь любви к Богу.

Вторая заповедь — любить ближнего — та же, что и первая, только с той разницей, что она показывает, как надо любить ближнего. Сказано в послании Апостола Иоанна, что Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает.

Любить Бога может только тот, кто любит ближнего. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

Любить ближнего надо как самого себя, т.е. не делать другому, чего себе не хочешь, а делать то, чего себе хочешь.

— Понятно ли? — спрашиваю.

Большей частью понимают.

— В этих заповедях, как сказано в Евангелии, весь закон, — продолжаю я. — И кто исполняет их, тому хорошо жить на свете, а кто не исполняет, тому плохо. Будем же стараться исполнять их. Исполнять их сначала кажется очень трудно. Но всякое дело делается с трудом и всякому делу надо учиться. Для того, чтобы научиться исполнять эти заповеди, надо, говорю, помнить четыре вещи: 1) помнить про Бога и про закон Его, помнить и когда один сам с собой, и когда с людьми; 2) не злиться на людей, не драться, не ругаться, не осуждать, не думать худого о людях; 3) жалеть тех, кто мучается, не только людей, но и скотов и животных, и не мучать их, а помогать им; 4) ничего не делать такого, что заглушает в нас совесть, т.е. памятование о Боге и законе Его. Чтобы помнить, говорю, про Бога и закон Его, хорошо почаще молиться. И не только в церкви, не только утром и вечером, но и середь дня, особенно, когда что-нибудь трудно или сам ослабел, вспомнить о Боге и сказать про себя молитву; «Господи, помоги! Помоги мне, чтоб не ошибиться, не сделать плохого!»

И как только помолишься, так сейчас трудное облегчится, и если хотел сделать дурное, удержишься.

Второе то, чтобы рукам воли не давать и не драться, и также — и языку не давать воли, не ругаться, особенно дурными словами. Помнить то, что и стыдно, и глупо разумному человеку ругаться бессмысленными дурными словами. Мало того, что приучаться надо не ругаться, надо приучаться и за глаза не осуждать людей. А то мы их судим, а они нас судят, и добра от этого никакого, а только нелюбовь друг к дружке.

Третье, говорю, то, чтобы жалеть не только людей, если они от чего-либо мучаются, и сколько можно помогать им, особенно беспомощным детям, старым, убогим, но жалеть и скотину всякую, и всякое животное, а не мучать или убивать их для своей забавы. Перестанешь жалеть скотину, зверей, — перестанешь жалеть и людей; а перестанешь жалеть людей, — огрубеет сердце и разучится любить, а это — самое дорогое на свете.

Четвертое, говорю, то, чтобы не заглушать в себе память и разум табаком, водкой. А то часто ребята балуются, чтобы быть похожими на старших, да и привыкнут, а потом и сами не рады. И потому хорошо смолоду заречься от табака, вина, от всего пьяного. Зло в том, что то самое, что дороже всего в человеке: памятование о душе, — заглушается этими зельями. Где бы вспомнил, подумал о душе, а накурился, напился и все забыл и делаешь то, чего со свежей головой ни за что бы не сделал.

Когда бывали у меня постарше ребята, то я говорил им еще и о том, чтобы они береглись от всяких дурных шуток с девушками, чтобы помнили, что все девушки — им сестры, что только когда женишься, только тогда станет одна из сестер женою и на всю жизнь. Говорил им о том, что от Бога вложен в душу и мальчиков, и девочек *стыд* перед этими делами, и что стыд этот надо беречь и не позволять себе ничего такого, от чего стыдно.

Закключаю такие рассуждения обыкновенно тем, что говорю, что во всех делах одно нужно — то, чтобы жить любовно. Сказано, говорю, что Бог есть любовь, и что Бог живет в душах наших, так, значит, и жить надо по-Божьи, по любви. Для того же, чтобы жить по-Божьи, надо отстранять от себя все то, что мешает такой жизни. А мешает этому 1) запаматование закона Христова — любви к Богу и к ближнему; 2) злоба, драки, ругательства, осуждение; 3) то, что мы не жалеем людей и скотов; 4) что одурманиваемся и заглушаем в себе совесть, и 5) что нарушаем стыд между мальчиками и девочками.

Такие или подобные поучения, я думаю, не только необходимы для учеников, но и обязательны для учителей, которые строго перед Богом, перед своей совестью смотрят на свое дело. Мф. гл. XVIII, ст. 6: «А кто соблазнит одного из малых сил, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской».

Да, великий грех людей, взявшихся за дело образования, просвещения, если они хоть сколько-нибудь, по мере сил своих, не постараются исправить то ужасное зло обмана, совершаемое над детьми, когда дети, не могущие даже представить себе повода, для которого могли бы старшие люди обманывать их, с радостью и верою принимают от старших в свои восприимчивые, правдивые сердца то, что им выдается за истину, когда это не только не истина, а коварная ложь, которая извратит всю их последующую жизнь. Ужасен грех этот. И потому было бы большим грехом и преступлением, если бы вы, сельские учителя, не постарались, насколько это в ваших силах, заложить в восприимчивые, алчущие правды сердца порученных вам детей основы вечных, религиозных истин и настоящей христианской нравственности, которая так легко воспринимается детскими душами.

Сентябрь, 1909 г.

БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ ПО НРАВСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ

Преподавать детям нравственность я пытался вот как: собрав выраженные разными мыслителями нравственные истины и изложив их доступным детям в возрасте около 10 лет языком, я разделил их на отделы, и каждый день читал детям по одной мысли из одного по очереди отдела, и, прочтя, просил их повторить своими словами прочитанное, разъясняя непонятное и отвечая на вопросы, вызванные чтением.

Отделов таких у меня составилось около 20. Я говорю около 20 потому, что я не вполне остановился на числе отделов и то прибавляю, то убавляю их.

Главные отделы следующие:

- 1) Бог.
- 2) Жизнь в воле Бога.
- 3) Человек сын Бога.
- 4) Разум.
- 5) Любовь.
- 6) Совершенствование.
- 7) Усилие.
- 8) Мысли.
- 9) Слова.
- 10) Поступки — дела.

- 11) Соблазны внутренние.
- 12) Соблазны внешние.
- 13) Смирение.
- 14) Самоотречение.
- 15) Непротивление.
- 16) Жизнь в настоящем.
- 17) Смерть.
- 18) Жизнь — благо.
- 19) Вера.

Таких нравственных истин набралось у меня более 700, так что, если расположить их по дням, то на каждый день придется по 2.

Для образца выписываю по одной мысли из каждого отдела.

ИЗ ОТДЕЛА 1-го

Услыхали раз рыбы в реке, что люди говорят: рыбам можно жить только в воде. И стали рыбы друг у друга спрашивать: что такое вода? И ни одна рыба в реке не могла сказать, что такое вода. Тогда умная, старая сказала, что есть в море премудрая рыба. Она все знает. Спросим ее: что такое вода? И вот поплыли рыбы в море к старой премудрой рыбе и спросили ее: как бы нам узнать, что такое вода? Премудрая рыба сказала: вы не знаете, что такое вода, потому что живете в воде. Узнаешь воду только тогда, когда выскочишь из нее и почувешь, что без нее жить нельзя. Только тогда поймешь, что мы водою живем и что без воды нет жизни.

То же и с людьми, если они думают, что не знают Бога. Мы живем в Боге и Богом, и только что уйдем от Бога, сейчас нам так же плохо, как рыбе без воды.

ИЗ ОТДЕЛА 2-го

Когда на большой дороге грабят разбойники, то путешественник не выезжает один: он выжидает, не поедет ли кто-нибудь со стражей, присоединяется к нему и тогда уже не боится разбойников.

Так же поступает в своей жизни и разум, ный человек. Он говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту, как уберечься от всего этого? Какого дорожного товарища подождать, чтобы поехать в безопасности? За кем ехать следом: за тем; или за другим? За богатым ли, за важным ли вельможей или за самим царем? Но уберегут ли они меня? Ведь и их грабят и убивают, и они так же бедствуют, как и другие люди. Да еще и то может быть, что тот самый, с кем я поеду, нападет на меня и ограбит. Какого же мне найти себе верного дорожного товарища, такого товарища, чтобы он не напал на меня, а был мне всегда защитой? За кем мне идти следом? Один есть такой верный товарищ. Товарищ этот — Бог. За ним надо идти, чтобы не попасть в беду. А что значит идти за Богом? Это значит желать того, что он хочет, и не желать того, чего он не хочет. А как достигнуть этого? — Понять его законы и следовать им».

ИЗ ОТДЕЛА 3-го

Христос сказал, что каждый человек сын Бога. Это значит то, что в каждом человеке живет дух Божий, по телу — всякий человек сын своих родителей, по духу — всякий человек сын Бога. Чем больше человек понимает в себе дух божий, чем больше признает свою сыновность Богу, тем больше он приближается к Богу и к истинному благу.

ИЗ ОТДЕЛА 4-го

Чем добрее бывает жизнь человека, тем больше бывает в нем разума. А чем разумнее человек, тем добрее бывает жизнь человека.

Для доброй жизни нужен свет разума. А для того, чтобы разум был светел, нужна добрая жизнь. Одно помогает другому. А потому, если разум не помогает доброй жизни, это не настоящий разум. И если жизнь не помогает разуму, то это не добрая жизнь.

ИЗ ОТДЕЛА 5-го

Постарайся полюбить того, кого ты не любил, кто обидел тебя. И если это удастся тебе сделать, то тебе сейчас же станет очень хорошо и радостно на душе. Как свет ярче светит после темноты, так и на душе бывает особенно хорошо, когда вместо злости и досады почувствуешь любовь к тому, кого не любил и кто обидел тебя.

ИЗ ОТДЕЛА 6-го

Мы все знаем, что живем не так, как надо и как могли бы жить. И потому надо всегда помнить, что жизнь наша может и должна быть лучше.

Помнить это надо не затем, чтобы осуждать жизнь других людей и свою, не исправляя ее, а затем, чтобы стараться с каждым днем и часом становиться хоть немного лучше, исправлять себя.

В этом самое главное и самое радостное дело в жизни.

ИЗ ОТДЕЛА 7-го

Бывает неприятно, когда тебя хвалят за то, чего ты не сделал, и также неприятно, когда бранят за то, чего ты не заслужил. Но можно и в напрасной похвале и в напрасной брани найти пользу. Если ты не сделал доброго дела и тебя хвалят за него, постарайся сделать то, за что тебя хвалят. А если тебя бранят за то, чего ты не сделал, то постарайся вперед не делать того, за что тебя бранят.

ИЗ ОТДЕЛА 8-го

Как удилами во рту мы управляем конями и рулями управляем кораблями, так и языком мы управляем всем телом. Языком можно и осквернить, можно и освятить себя, И потому надо не говорить, что попало, а внимательно следить за своими словами.

Слово — великое дело. Как небольшой огонь может сжечь целые деревни, так и от одного слова может сделаться большое несчастье.

ИЗ ОТДЕЛА 9-го

Для того, чтобы не делать злых дел, надо удерживаться не только от самых дел, но и от злых разговоров. Для того же, чтобы удерживаться от злых дел и разговоров, надо научиться удерживаться от злых мыслей. Когда один думаешь сам с собой и придут недобрые мысли — осуждаешь кого-нибудь, сердишься, — вспомни, что нехорошо так думать, остановись и старайся думать о другом. Только тогда будешь в силах воздерживаться от злых дел, когда научишься воздерживаться от злых мыслей. Корень злых дел в дурных мыслях.

ИЗ ОТДЕЛА 10-го

Китайского мудреца спросили: есть ли такое слово, которое дало бы счастье на всю жизнь?

Мудрец сказал: «Есть слово "шу", смысл этого слова такой: чего мы не хотим, чтобы нам делали, не надо делать другим».

Когда же Христа спросили о главной заповеди закона, он сказал: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки».

Китайский мудрец сказал, чтобы не делать другим того, чего себе не хочешь: не отступай от любви. А Христос сказал: не только не делай другому того, чего себе не хочешь, но делай другому то, чего себе хочешь, — поступай по любви.

ИЗ ОТДЕЛА 11-го

Пословица говорит: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». «От трудов будешь горбат, а не будешь богат».

И пословица не мимо молвится. Большое богатство наживается не трудами, а грехами. От этого большое богатство — тяжесть, а не радость для хорошего человека. Не пропускает большое богатство людей в Царство Божие.

ИЗ ОТДЕЛА 12-го

Надо не поддаваться тому, что делают другие, а жить своим умом. Не беда, если мы смеемся, сами не зная чему, когда другой человек смеется, и если, глядя на того, кто зеваает, и сами зеваем, но плохо то, когда мы поддаемся злomu чувству того человека, который злится на нас, обижает нас. Он злится, и мы злимся. А тут-то и дороже всего не поддаваться злomu чувству, а, напротив, добротой ответить на злобу. Если с злыми людьми будешь такой же, как они, то сделаешься скоро злым и с добрыми людьми.

ИЗ ОТДЕЛА 13-го

В Евангелии сказано (Лука XVI, 15), что велико для людей, то мерзость перед Богом. — Это надо всегда помнить, чтобы не ошибиться и не почитать великим и важным то, что мало и ничтожно. Это надо помнить, потому что люди всегда возвеличивают, украшают то, про что они знают, что оно без прикрасы будет не замечено и признано дурным. Так устраивают всякие храмы, шествия с музыкой и флагами, богатыми одеждами. Надо не поддаваться этому блеску и знать и помнить, что все истинное и доброе не нуждается в украшениях и бывает просто и скромно.

ИЗ ОТДЕЛА 14-го

Люди живут общими трудами всех. И чугуны, и косы, и сошник, и сукно, и бумага, и спички, и свечи, и керосин, и тысячи других вещей — все это труды людские. И потому, чтобы не отнимать у людей людских трудов, надо, если мы пользуемся трудами людей, оплачивать за это своим.

Есть пословица, что, если один человек живет не работая, то где-нибудь какой-нибудь человек от этого умирает с голоду.

Но как учесть, больше ли я беру, чем даю? Учесть нельзя, и потому, чтобы не быть вором и убийцей, лучше больше отдать, чем взять, и для этого как можно больше работать и как можно меньше брать от других людей.

ИЗ ОТДЕЛА 15-го

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злomu. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. V, 38—39). Учение это запрещает делать то, от чего умножается, а не прекращается зло в мире. Когда один человек нападает на другого, обижает его, он этим зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. Что же надо сделать, чтобы потушить это чувство зла? Неужели сделать то самое, что вызвало это чувство зла, то есть повторить дурное дело? Поступить так, значит вместо того» чтобы уничтожить зло, усилить его.

И потому непротивление злу злом есть единственное средство победить зло. Только оно одно убивает злое чувство и в том, кто сделал зло, и в том, кто понес его.

ИЗ ОТДЕЛА 16-го

Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать его нынче. Смерть не разбирает того, сделал ли, или не сделал человек то, что должен. Смерть никого и ничего не дожидается. У нее нет ни врагов, ни друзей. Дела человека, то, что он успел сделать, становятся его судьбой, хорошей или дурной. И потому для человека важнее всего в мире то, что он сейчас делает.

ИЗ ОТДЕЛА 17-го

Человек видит, как все на свете — и растения, и животные — зарождается, растет, крепнет, плодится, а потом слабеет, портится, стареется и умирает.

То же самое видит человек и над своим телом и, глядя на других людей, когда они умирают, знает и про свое тело, что оно состарится, испортится и умрет, как и все, что родится и живет на свете.

Но кроме того, что он видит на других существах и на людях, каждый человек знает в себе еще то, что не портится и не стареется, а, напротив, что больше живет, то лучшеет и крепнет, — знает каждый человек в себе свою душу.

Что будет с душой, когда мы помрем, никто не может знать. Одно мы верно знаем — это то, что портится, преет и гниет только то, что телесно, а душа нетелесна, и потому с ней не может быть того, что с телом. И потому страшна смерть только тому, кто живет только телом.

Для того же, кто живет душою, нет смерти.

ИЗ ОТДЕЛА 18-го

Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват, потому что

Бог создал людей не для того чтобы они были несчастны, а для их счастья. Несчастливы бывают люди только тогда, когда они желают того, что не всегда могут иметь. Счастливы же тогда, когда желают того, что всегда могут иметь. Чего же люди не всегда могут иметь? И что могут всегда иметь, когда желают этого?

Не всегда могут люди иметь то, что не в их власти, то, что другие могут отнять у них. Всего этого люди не могут иметь всегда. Всегда же могут иметь люди только то, чего никто от них отнять не может.

Первое — это все блага мирские, богатство, почести, здоровье. Второе — это своя душа, свое желание во всем исполнять волю Бога. И Бог дал в нашу власть как раз то, что нам нужнее всего для нашего блага, потому что ничто, никакие мирские блага не дают истинного блага, а всегда только обманывают. Истинное же благо дает только исполнение воли Бога. Бог не враг нам, Он поступил с нами, как добрый отец: Он не дал нам только того, что не может дать нам блага.

ИЗ ОТДЕЛА 19-го

Во всех верах учение о том, как надо жить людям, одно и то же. Обряды разные, а вера одна.

Разумный человек видит то, что едино во всех верах, глупый же видит только то, что в них разное.

КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?

В 5-й книжке «Ясной Поляны», в отделе детских сочинений, напечатана по ошибке редакции «История о том, как мальчика напугали в Туле». Историйка эта сочинена не мальчиком, но составлена учителем из виденного им и рассказанного мальчиком сна. Некоторые из читателей, следящие за книжками «Ясной Поляны», выразили сомнение в том, что действительно ли повесть эта принадлежит ученику. Я спешу извиниться перед читателями в этой неосмотрительности и при этом случае заметить, как невозможны подделки в этом роде. Повесть эта узнана не потому, что она лучше, а потому, что она хуже, несравненно хуже всех детских сочинений. Все остальные повести принадлежат самим детям. Две из них: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье», печатаемое в этой книжке, составились следующим образом.

Главное искусство учителя при изучении языка и главное упражнение с этою целью в руководстве детей к сочинениям состоит в задавании тем, и не столько в задавании, сколько в предоставлении большего выбора, в указании размера сочинения, в показании первоначальных приемов. Многие умные и талантливые ученики писали пустяки, писали: «пожар загорелся, стали таскать, а я вышел на улицу», — и ничего не выходило, несмотря на то, что сюжет сочинения был богатый и что описываемое оставило глубокое впечатление на ребенке. Они не понимали главного: зачем писать и что хорошего в том, чтоб написать? Не понимали искусства — красоты выражения жизни в слове и увлекательности этого искусства. Я, как уже писал во 2-м номере, пробовал много различных приемов задавания сочинений. Я задавал, смотря по наклонностям, точные, художественные, трогательные, смешные, эпические темы сочинений, — дело не шло. Вот как я нечаянно попал на настоящий прием.

Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы. Один раз, прошлую зимой, я зачитался после обеда книгой Снегирева и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка.

— Ну-ка, напишите кто на пословицу, — сказал я.

Лучшие ученики — Федька, Семка и другие наострили уши.

— Кто на пословицу, что такое? скажите нам? — посыпались вопросы.

Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаз колет.

— Вот, вообрази себе, — сказал я, — что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом, за свое добро, его попрекать стал, — и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз колет».

— Да ее как напишешь? — сказал Федька, и все другие, наострившие было уши, вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои, прежде начатые, работы.

— Ты сам напиши, — сказал мне кто-то.

Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.

— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет, — и я с вами.

Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной Поляны», и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена благодаря указанию учеников.

Федька из-за своей тетрадки все поглядывал на меня и, встретившись со мной глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «Пиши, пиши, я те задам». Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое сочинение хуже и скорее обыкновенного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать; другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное. Им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно, и, чтоб успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик этот будет колдун; кто говорил: нет, не надо, — он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большею частью одинаковы и верны как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и в характеристиках лиц. Все почти принимали участие в сочинительстве; но, с самого начала, в особенности резко выделились положительный Семка резкой художественностью описания и Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны и определены, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле, — они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба жалко стало. Федька отвечал, что это будет нескладно: «он с первого начала бабы не послушался и после уже не покорится». — Да какой он, по-твоему, человек? — спросил я. «Он как дядя Тимофей, — сказал Федька, улыбаясь, — так, бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него есть». — Добрый, но упрямый? — сказал я. «Да, — сказал Федька, — уж он не станет бабы слушать». С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной

подробности. В этом отношении в особенности отличался Семка: подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: заочечелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку; Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: «Господи, как он шел!» (Федька даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнувши руками и покачавши головою.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: тише, матушка, у меня тут раны. Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собою; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? — все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, то есть художественно запечатлевать словом образы чувства он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет «У меня на ногах раны», то уж не позволяет сказать «У меня раны на ногах». Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, то есть любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: «Ну тебя, уж наладил!» Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську-покойника, тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатались со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот деспотизм, распорядился постройкою повести, что скоро мальчишки ушли домой и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде.

Мы работали с семи до одиннадцати часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать попеременнокам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать? Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, —

сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему. «А печатывать будем?» — спросил он. — Да! — «Так и напечатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть, — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папортника: радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года, — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество. Я прошу читателя прочесть первую главу повести и заметить то богатство рассыпанных в ней черт истинного творческого таланта; например, черта, что баба со злобой жалуется куму на мужа, и, несмотря на то, эта баба, к которой автор имеет явное несочувствие, плачет, когда кум напоминает ей о разорении дома. Для сочинителя, пишущего одним умом и воспоминанием, сварливая баба представляет только противоположность мужика: она, из одного желания досадить мужу, должна бы была приглашать кума; но у Федьки художественное чувство захватывает и бабу, — и она тоже плачет, боится и страдает, она, в его глазах, не виновата. Вслед за тем побочная черта, что кум надел бабью шубенку, я помню, до такой степени поразила меня, что я спросил: почему же именно бабью шубенку? Никто из нас не наводил Федьку на мысль о том, чтобы сказать, что кум надел на себя шубу. Он сказал: «так, похоже». Когда я спросил: можно ли было сказать, что он надел мужскую шубу? — он сказал: «нет, лучше бабью». И в самом деле, черта эта необыкновенна. Сразу не догадаешься, почему именно бабью шубенку, — а вместо с тем чувствуешь, что это превосходно и что иначе быть не может. Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гете или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений. Кум, в бабьей шубенке, невольно представляется вам тщедушным, узкогрудым мужиком, каков он, очевидно, и должен быть. Бабья шубенка, валявшаяся на лавке и первая попавшаяся ему под руку, представляет вам еще и весь зимний и вечерний быт мужика. Вам невольно представляются, по случаю шубенки, и позднее время, во время которого мужик сидит при лучине, раздевшись, и бабы, которые входили и выходили за водой и убирать скотину, и вся эта внешняя безурядица крестьянского житья, где ни один человек не имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего определенного места. Одним этим словом: «надел бабью шубенку» отпечатан весь характер среды, в которой происходит действие, и слово это сказало не случайно, а сознательно. Помню я еще живо, как возникли в его воображении слова, сказанные мужиком при том, как он нашел бумагу и не мог прочесть ее: «Вот знал бы мой Сережа грамоте, он бы живо подскочил, вырвал бы из моих рук бумагу, все бы прочел и рассказал бы мне, кто такой этот старик есть». Так и видится это отношение рабочего человека к книге, которую он держит в своих загорелых руках; весь этот добрый человек с патриархальными, набожными наклонностями так и восстает перед вами. Вы чувствуете, что автор глубоко полюбил и потому понял всего его для того, чтобы вложить ему вслед за этим отступление о том, что нынче какие времена пришли — того и гляди, ни за что душу загубят. Мысль сна подана была мною, но сделать козла с ранами на ногах была Федькина мысль, и он в особенности обрадовался ей. А размышление мужика в то время, как у него засвербела спина, а картина

тишины ночи, — всё это до такой степени не случайно, во всех этих чертах чувствуется такая сознательная сила художника!.. Помню я еще, что во время засыпания мужика я предложил заставить думать его о будущности сына и о будущих отношениях сына с стариком, что старик выучит Сережку грамоте и т. д. Федька поморщился, сказал: «да, да, хорошо», — но видно было, что предложение это ему не нравилось, и он два раза забывал его. Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, — то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, — во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.

Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.

«Что с вами, отчего вы так бледны, вы, верно, нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его.

Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых годах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отречься от старого и вполне предаваться новому. На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гете. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я, в деле художества, не только не могу указать или помочь одиннадцатилетнему Семке и Федьке, а что едва-едва, — и то только в счастливую минуту раздражения, — в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера.

На другой день вечером мы принялись за продолжение повести. Когда я спросил у Федьки, обдумал ли он продолжение и как? — он, не отвечая, замахал руками и сказал только: «уж знаю, знаю! Кто писать будет?» Мы стали продолжать, и опять со стороны ребят то же чувство художественной правды, меры и увлечения.

В половине урока я был принужден оставить их. Они продолжали без меня и написали две страницы так же хорошо, прочувствованно и верно, как и первые. Страницы эти были только несколько беднее подробностями, и подробности эти были иногда не совсем ловко расположены, были раза два и повторения. Все это, очевидно, происходило оттого, что механизм писанья затруднял их. На третий день было то же самое. Во время этих уроков часто приставали другие мальчики и, зная тон и содержание повести, часто подсказывали и прибавляли свои верные черты. Семка отставал и приставал. Один Федька от начала до конца вел повесть и цензировал все предлагаемые изменения. Не могло уж быть сомнения и мысли, что успех этот есть дело случая: нам, очевидно, удалось попасть на тот прием, который был естественнее и возбуждательнее всех прежних. Но все это было слишком необыкновенно, и я не верил тому, что совершалось перед глазами. Как

будто надобно было еще особенному случаю уничтожить все мои сомнения. Я должен был уехать на несколько дней, и повесть оставалась недописанною. Рукопись, три большие листа, кругом исписанные, оставалась в комнате учителя, которому я показывал ее. Еще перед моим отъездом, во время моего сочинительства, прибывший новый ученик показал нашим ребятам искусство делать хлопушки из бумаги, и на всю школу, как это обыкновенно бывает, нашел период хлопушек, заменивший период снежков, заменивший, в свою очередь, период вырезывания палочек. Период хлопушек продолжался во время моего отсутствия. Семка и Федька, состоящие в числе певчих, приходили в комнату учителя спеваться и проводили здесь целые вечера, а иногда и ночи. Между и во время пения, разумеется, хлопушки делали свое дело, и всевозможные бумаги, попадавшие в руки, превращались в хлопушки. Учитель ушел ужинать, забывши сказать, что бумаги на столе нужны, и рукопись сочинения Макарова, Морозова и Толстова превратилась в хлопушки. На другой день, перед уроком, хлопанье до такой степени надоело самим ученикам, что последовало всеобщее гонение на хлопушки от них же самих: с криком и визгом хлопушки все были отобраны и с торжеством всунуты в топившуюся печку. Период хлопушек кончился, но с ним погибла и наша рукопись. Никогда никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих трех исписанных листов; я был в отчаянии. Махнув на все рукою, я хотел начинать новую повесть, но не мог забыть потери и невольно всякую минуту пилил упреками и учителя и делателей хлопушек. (Не могу не заметить при этом случае, что только вследствие внешнего беспорядка и полной свободы учеников, над которою так мило подтрунивают гг. Марков в «Русском вестнике» и Глебов в журнале «Воспитание» № 4, я без малейшего труда, угроз или хитростей узнал все подробности сложной истории превращения рукописи в хлопушки и сожжения их.) Семка и Федька видели, что я огорчен, видимо не понимали чем, хотя и соболезновали. Федька робко предложил мне, наконец, что они вновь напишут такую же. — «Одни? — сказал я. — Я уж помогать не стану». — «Мы с Семкой ночевать останемся», — сказал Федька. И действительно, после урока они пришли в 9-м часу в дом, заперлись на ключ в кабинете, что мне доставляло немало удовольствия, посмеялись, затихли и до 12-го часа, подходя к двери, я слышал только, как они тихим голосом переговаривались между собою и скрипели пером. Один раз только они заспорили о том, что было прежде, и пришли ко мне судиться: прежде ли он искал сумочку, чем баба пошла к куму, — или после. Я сказал им, что это все равно. В 12-м часу я к ним постучался и вошел. Федька, в новой белой шубке с черною опушкой, сидел глубоко в кресле, перекинув ногу на ногу и облокотившись своею волосатой головкой на руку и играя ножницами в другой руке. Большие черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым блеском, всматривались куда-то в даль; неправильные губы, сложенные так, как будто он сбирался свистать, видимо, сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать. Семка, стоя перед большим письменным столом, с большой белой заплаткой овчины на спине (в деревне только что были портные), с распущенным кушаком, с лохмаченной головой, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в чернильницу. Я взбудоражил волоса Семке, и толстое скуластое лицо его с спутанными волосами, когда он недоумевающими и заспанными глазами с испуга оглянулся на меня, было так смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не изменяя выражения лица, тронул за рукав Семку, чтоб он продолжал писать: «Погоди, — сказал он мне, — сейчас» (Федька говорит мне «ты» тогда, когда бывает увлечен и взволнован), и он продиктовал еще что-то. Я отнял у них тетрадь и через пять минут, когда они, усевшись около шкапчика, оплетали картофель с квасом и, глядя на чудные для них серебряные ложки, заливались, сами не зная чему, звонким детским смехом,

старушка, слушая их сверху, не зная чему, тоже смеялась. «Ты что завалился? — говорил Семка, — сиди прямо, а то набок наешься». И, снимая шубы и укладываясь под письменным столом спать, они не переставали заливаться детским, мужицким, здоровым, прелестным хохотом. Я прочел то, что они написали. Это был новый вариант того же. Некоторые вещи были пропущены, некоторые новые, художественные красоты прибавлены. И опять то же чувство красоты, правды и меры. Впоследствии найден был один лист из потерянной рукописи. В напечатанной повести я, вспоминая по найденному листу, соединил оба варианта. Писание этой повести происходило раннею весной, перед окончанием нашего учебного года. Я, по некоторым обстоятельствам, не мог успеть делать новых опытов. На пословицы написана была двумя самыми посредственными по способностям и самыми испорченными (потому что дворовые) мальчиками только одна повесть: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», напечатанная в 3-м номере. Те же явления повторялись и с этими мальчиками, и с этою повестью, как и с Семкой и Федькой и первую повестью, только с различием степени таланта и степени увлечения и содействия с моей стороны.

Летом у нас не учатся, не учились и не будут учиться. Причине, почему учение летом невозможно в нашей школе, мы посвятим отдельную статью.

Одну часть лета Федька и другие мальчики жили со мною. Накупавшись, наигравшись, они вздумали позаняться. Я предложил им писать сочинение и рассказал несколько тем. Я рассказал весьма занимательную историю воровства денег, историю одного убийства, историю чудесного обращения молокана в православие и еще, в форме автобиографии, предложил написать историю мальчика, у которого бедного и распутного отца отдали в солдаты и к которому отец возвращается из солдатства исправленным и хорошим человеком. Я сказал: «Я бы написал так. Помню я, когда я был маленьким, что у меня были мать, отец и еще какие-нибудь родные, и какие они были. Потом написал бы, как помню, что отец мой гулял, мать все плакала, и он ее бил; потом, как отдали его в солдаты, как она выла, как мы еще хуже жить стали, как отец пришел назад, и я будто бы его не узнал, а он спрашивает, жива ли там Матрена, — это про свою жену, — и как потом обрадовались и хорошо стали жить». Вот все, что я сказал сначала. Федьке чрезвычайно понравилась эта тема. Он сейчас же схватил перо, бумагу и стал писать. Во время писания я навел его только на мысль о сестре и на мысль о смерти матери. Остальное все он писал сам и даже не показывал мне, кроме первой главы, до тех пор, пока все было кончено. Когда он показал мне 1-ю главу и я начал ее читать, я чувствовал, что он находится в сильном волнении и, сдерживая дыхание, смотрит то на рукопись, следя за моим чтением, то на мое лицо, желая угадать на нем выражение одобрения или неодобрения. Когда я ему сказал, что это очень хорошо, — он весь вспыхнул, но ничего не сказал мне и раздраженно тихим шагом дошел с тетрадью до столика, уложил ее и медленно вышел на двор. На дворе он был бешено резв с ребятами в этот день и, когда глаза наши встречались, смотрел на меня такими благодарными, ласковыми глазами. Через день он уже забыл о том, что написал. Я только придумал заглавие, разделил на главы и кое-где поправил ошибки, сделанные им только по неосмотрительности. Эта повесть в своем первоначальном виде печатается в книжке под заглавием «Солдаткино житье».

Я не говорю о первой главе, хотя и в ней есть свои неподражаемые красоты, и хотя беспечный Гордей в ней представляется чрезвычайно верно и живо, — Гордей, который как будто стыдится признаться в своем раскаянии и считает приличным только попросить сходку о сыне, — несмотря на это, глава эта несравненно слабее всех последующих. И виноват в этом один я, который не мог

удержаться при писании этой главы, не мог удержаться, чтобы не подсказывать ему и не рассказывать, как бы написал я. Ежелп есть некоторая пошлость приема при вступлении, в описании лиц и жилища, то виноват в этом единственно я. Ежели бы я его оставил одного, то, я уверен, он описал бы то же самое во время действия незаметно, художественное, без принятой у нас и ставшей невозможной манеры описаний, логично расположенных: сначала описания действующих лиц, даже их биографий, потом описание местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело, — все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе неописанными лицами. Так в этой первой главе одно слово Гордея: «мне того и нужно», когда он, махнув рукой, примиряется с своею долей быть солдатом и только просит сходку не оставить его сына, — это слово более знакомит читателя с лицом, чем несколько раз повторенное и навязанное мною описание его одежды, фигуры, и привычки ходить в кабак. Точно то же впечатление производит и слово старухи, всегда бранившей сына, когда она во время горя говорит с завистью невестке: «Будет тебе, Матрена! Что же делать, — видно, так богу угодно! Ведь ты еще молода, может, бог тебе приведет и увидать. А мои какие лета... я все больна... того и гляди — умру».

Во второй главе еще заметно мое влияние пошлости и испорченности, но опять глубоко художественные черты в описании картин и смерти мальчика выкупают все дело. Я подсказал, что у мальчика были тоненькие ножки, я подсказал сентиментальную подробность о дяде Нефедке, который делает гробок; но жалобы матери, выраженные одним словом: «Господи, когда эта кабала умрет!» — представляют читателю всю сущность положения; и вслед за тем эта ночь, во время которой старший братишка разбужен слезами матери, и ответ ее на вопрос бабушки: что с нею? — простым словом: «у меня сын помер», — и эта бабушка, встающая и зажигающая огонь и обмывающая маленькое тело, — все это его собственное, все это так сжато, так просто и так сильно — ни одного слова нельзя выкинуть, ни одного изменить или прибавить. Всего пять строк, и в этих-то пяти строках нарисована для читателя вся картина этой грустной ночи, и картина, отражавшаяся в воображении 6—7-летнего мальчика. «В полночь мать что-то заплакала. Встала бабушка и говорит: что ты, Христос с тобою? Мать говорит: у меня сын помер. Бабушка зажгла огонь, обмыла мальчика, надела рубашку, подпоясала и положила под святые. Когда рассвело...» Вам видится и самый мальчик, разбуженный знакомым плачем матери, спросонков из-под кафтана, где-нибудь на полатах, испуганными блестящими глазами следящий за тем, что делается в избе; вам видится и эта изнуренная страдальница-солдатка, за день пред этим говорившая: «скоро ли эта кабала умрет», раскаивающаяся и убитая мыслью о смерти этой кабалы до такой степени, что она только говорит: «у меня сын помер», не знает, что ей делать, и зовет на помощь старуху; вам видится и эта усталая от страдания жизни старуха, сгорбленная, худая и с костлявыми членами, которая привычными рабочими руками неторопливо, спокойно берется за дело: зажигает лучину, приносит воды и обмывает мальчика, кладет все в свое место и обмытого, подпоясанного мальчика под святые. И видятся вам эти святые, вся эта ночь без сна до рассвета, как будто вы сами ее пережили, как пережил ее мальчик, глядевший из-под кафтана; со всеми подробностями возникает эта ночь и остается в вашем воображении.

В 3-й главе уже меньше моего влияния. Вся личность няньки принадлежит ему. Еще в 1-й главе он одною чертой охарактеризовал отношения няньки к семейству: «она работала в свою долю на наряды, замуж собиралась». И одна эта черта рисует уже всю девку, не могущую принимать и действительно не

принимающую участия в радостях и горестях семейства. У ней свой законный интерес, своя единственная цель, поставленная ей провидением, — будущее замужество, своя будущая семья. Наш брат сочинитель, в особенности такой, который желает поучать народ, представляя ему примеры нравственности, достойные подражания, непременно отнесся бы к няньке с вопросом о ее участии в общей нужде и горе семейства. Он сделал бы ее или постыдным примером равнодушия, или образцом любви и самопожертвования, и была бы мысль, а не было бы живого лица — няньки. Только человек, глубоко изучивший и узнавший жизнь, мог бы понять, что для няньки вопрос о горе семейства и солдатстве отца есть законно второстепенный вопрос: у нее есть замужество. И это самое в простоте своей души видит художник, хотя и ребенок. Ежели бы мы описали няньку самой трогательной, самоотверженной девицей, мы бы ее вовсе не могли себе представить и не любили бы, как теперь ее любим. Теперь же мне так мила и жива эта толстощекая, румяная девочка, бегающая вечером на хороводы в купленных на заработанные деньги котках и кумачном платке, любящая свою семью, хотя и тяготящаяся той бедностью и мрачностью, которая составляет такую противоположность ее душевному настроению. Я чувствую, что она добрая девочка, уже потому, что мать никогда на нее не жаловалась и не имела от нее горя. Я, напротив, чувствую, что она одна с своими заботами о нарядах, отрывками напеваемых песен и рассказами о деревенских сплетнях, принесенными с летней работы или с зимней улицы, в грустное время одиночества солдатки служила представительницей веселья, молодости и надежды. Недаром он говорит, что только и было радости, как няньку замуж отдавали; недаром с такой любовью и подробностью описывает веселье свадьбы; недаром после свадьбы заставляет мать сказать: «теперь мы разорились до конца». Видно, что, отдав няньку, они потеряли ту радость и веселье, которые она вносила в их дом. Все это описание свадьбы необыкновенно хорошо. Тут есть подробности, перед которыми невольно приходишь в недоумение и, вспоминая, что это писал 11-летний мальчик, спрашиваешь себя — неужели это не нечаянно? Так и видишь из-за этого сжатого и сильного описания 7-летнего мальчика, не выше стола, с умными и внимательными глазками, на которого никто не обращает внимания, но который все помнит и замечает. Когда ему захотелось хлебца, например, он не сказал, что попросил у матери, а сказал, что нагнул мать. И это сказано не нечаянно, а сказано потому, что помнится ему отношение в то время роста его к матери и помнятся его, робкие при других и близкие один на один, отношения к матери. Другое из множества наблюдений, которые он мог сделать во время обряда свадьбы, он запомнил и записал именно то, которое для него и для каждого из нас рисует весь характер этих обрядов. Когда сказали, что горько, нянька взяла Кондрашку за уши и стали целоваться. Потом смерть бабушки, воспоминание ее о сыне перед смертью и особенный характер горести матери — все это так твердо и сжато, и все это его собственное.

О возвращении отца я более всего ему говорил, когда задавал тему повести. Мне нравилась эта сцена, и я сентиментально-пошло рассказал, но именно сцена эта ему тоже очень понравилась, и он просил меня: «ничего не говорите, я сам знаю, знаю», — говорил он мне и начал писать, и с этого же места дописал всю повесть в один присест. Мне очень интересно будет знать мнение других ценителей, но я считаю долгом откровенно высказать свое мнение. Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе. Во всей этой встрече нет ни одного намека на то, что это было трогательно, рассказано только, как было дело; но рассказано, изо всего, что было, именно только то, что необходимо для того, чтобы читатель понял положение всех лиц. Солдат в своем доме сказал только три слова. Сначала он еще крепился и сказал: «Здравствуйте».

Когда он начал забывать взятую на себя роль, он сказал: «Чтой-то у вас семьи только?» И все было высказано словами: «Где ж моя матушка?» Какие всё простые и естественные слова, и никто из лиц не забыт! Мальчик был рад и заплакал даже; но он ребенок, и потому он тут же, несмотря на то, что отец плакал, все рассматривал у него сумочку и в карманах. Не забыта и нянька. Так и видишь эту румяную бабенку, которая в котах при народе застенчиво вошла в избу и, ничего не сказавши, поцеловала отца. Так и видишь растерявшегося и счастливого солдата, который подряд целуется со всеми, сам не зная с кем, и который, узнав, что молодая бабенка его дочь, вновь подзывает ее к себе и целует уже не просто как всякую молодую бабочку, а целует как дочь, которую он оставил когда-то, как будто не жалея.

Отец исправился. Сколько бы мы наговорили фальшивых и неловких фраз по этому случаю. А Федька просто рассказал, как нянька принесла вино, а он не стал пить. И вы видите и бабу, которая, достав из сумочки последние 23 к., запыхавшись, в сенях шепотом послала молодую бабенку за вином и пересыпала ей в горсть медные деньги. Вы видите эту молодую бабенку, которая, подобрав на руку занавеску, с полуштофом в руке, постукивая котами и размахивая за спиной локтями, с полуштофом в руке бежала к кабаку. Вы видите, как она, зардевшись, вошла в избу, достала из-под занавески полуштоф, как мать самодовольно и весело поставила его на стол, и как солдатке и обидно и весело стало, что муж ее не стал пить. И видите — ежели он не стал пить в такую минуту, то он уж точно исправился. Вы чувствуете, как совсем другие люди стали все члены семейства. «Отец мой помолился богу и сел за стол. Я сел возле него рядом; нянька села на коннике, а мать стояла у стола и глядела на отца и говорит: вишь ты помолодел — у тебе бороды нет. Все засмеялись».

И только когда все ушли, начались настоящие семейные разговоры. Тут только открывается, что солдат разбогател и разбогател самым простым и естественным образом, точно так же, как богатеют почти все люди на свете, то есть чужие, казенные, общие деньги, вследствие счастливой случайности, остались у него. Некоторые из читателей повести замечали в ней, что подробность эта безнравственна и что понятие казны, как дойной коровы, надо искоренять, а не утверждать в народе. Для меня же черта эта, не говоря уже о ее художественной правде, в особенности дорога. Ведь казенные деньги всегда остаются, — отчего же и не остаться им когда-нибудь и у бездомного солдата Гордея! Во взгляде на честность народа и высшего класса часто встречается совершенная противоположность. Требования народа в особенности серьезны и строги в отношении честности в самых близких отношениях, например, в отношении к семье, к деревне, к миру. В отношении к посторонним — с публикой, с государством, в особенности с иностранцем, с казною, для них смутно представляется приложимость общих правил честности. Мужик, который никогда не солжет своему брату, перенесет всевозможные лишения для своей семьи, который лишней и незаслуженной копейки не возьмет у своего односельца или соседа, тот же мужик обдерет, как липку, иностранца или горожанина, на каждом слове солжет дворянину или чиновнику; будь он солдатом — без малейшего угрызения совести заколет пленного француза и, попадись ему казенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи не воспользоваться ими. В высшем классе бывает, напротив, совершенно противное. Наш брат скорее обманет жену, брата, купца, с которым десятки лет имеет дело, своих дворовых, крестьян, соседа, и тот же самый человек за границей снедаем постоянным страхом, как бы нечаянно не обмануть кого, и все просит указать ему — кому еще нужно отдать деньги. Тот же наш брат обдерет на шампанское и перчатки свою роту и полк и будет рассыпаться в любезностях перед пленным французом. Тот же

самый человек, в отношении казны, считает величайшим преступлением воспользоваться, когда он без денег (считает только), но большей частью при случае не устоит в борьбе и сделает то, что сам считает подлостью. Я не говорю, что лучше, я говорю только, как, мне кажется, оно есть. Замечу только, что честность не есть убеждение, что выражение «честные убеждения» есть бессмыслица. Честность есть нравственная привычка; чтобы приобрести ее, нельзя идти иным путем, как начинать с ближайших отношений. Выражение «честные убеждения», по-моему, совершенно бессмысленно: есть честные привычки, а нет честных убеждений.

Слова «честные убеждения» только фраза; вследствие того-то эти мнимые честные убеждения, относящиеся до самых отдаленных жизненных условий — казны, государства, Европы, человечества — и не основанные на привычках честности, не воспитанные на самых ближайших житейских отношениях, оттого-то эти честные убеждения, или, вернее, фразы честности, оказываются несостоятельными в отношении к жизни.

Возвращаюсь к повести. Кажущееся в первую минуту безнравственным появление взятых у казны денег, по нашему мнению, напротив, имеет самый милый, трогательный характер. Как часто литератор нашего круга, в простоте своей души, желая выставить героя своего идеалом честности, показывает нам всю грязную и развратную внутренность своего воображения. Здесь, наоборот, автору нужно осчастливить своего героя; для счастья ему и достаточно было бы возвращения в семью, но надо было уничтожить бедность, столько лет тяготевшую над семьей; откуда ж ему было взять богатство? Из безличной казны. Ежели дать богатство, то надо у кого-нибудь взять его, — законнее, разумнее нельзя было найти его.

В самой сцене объявления этих денег есть крошечная подробность, одно слово, которое всякий раз, когда я читаю, как будто вновь поражает меня. Оно освещает всю картину, обрисовывает все лица и их отношения и только одно слово, и слово, неправильно употребленное, синтаксически неверное, — это слово заторопилась. Учитель синтаксиса должен сказать, что это неправильно. Заторопилась требует дополнительного — заторопилась что сделать? должен спросить учитель. А тут просто сказано: — Мать взяла деньги и заторопилась, понесла их хоронить — и это прелестно. Желал бы я сказать такое слово и желал бы, чтобы учителя, обучающие языку, сказали или написали такое предложение. «Когда мы пообедали, нянька поцеловала еще отца и ушла домой. Потом отец стал перебирать в сумочке, а мы стали с матерью смотреть. Вот мать увидела там книжку и говорит: ай выучился грамоте? Отец говорит: выучился. Потом отец вынул большой узел и подал матери. Мать говорит: что это? Отец говорит: деньги. Мать обрадовалась и заторопилась, понесла их хоронить. Потом мать пришла и говорит: где это ты взял? Отец говорит: я был унтер-офицером, и у меня были казенные деньги; я раздавал солдатам, и у меня остались, я их прибрал. Мать моя так была рада и бегала как бешеная. День уже прошел, наступил вечер. Зажгли огонь. Взял мой отец книжку и зачал читать. Я сел около него и слушал, а мать светила лучинку. И долго отец читал книжку. Потом легли спать. Я лег на задней лавке с отцом, а мать у нас легла в ногах, и долго они разговаривали, почти до полуночи. Потом уснули».

Опять чуть заметная, несколько не поражающая вас, но оставляющая глубокое впечатление подробность о том, как они легли спать: отец лег с сыном, мать легла в ногах, и долго они не могли наговориться. Как тепло прижался, я думаю, сын к груди отца и как чудно и отрадно было ему, засыпая и впросонках, все слушать эти два голоса, из которых один так давно он не слышал. Казалось бы,

все кончено: отец возвратился, бедности нет уже. Но Федька не удовлетворился этим (слишком живо, видно, засели ему в воображение эти воображаемые люди), ему нужно еще было живо вообразить себе картину изменившегося их житья, представить себе ясно, что теперь уж эта баба не одинокая, горемычная солдатка с малыми ребятами, а что есть в доме сильный мужчина, который снимет с усталых плеч жены все бремя надавившего горя и бедности и самостоятельно, твердо и весело поведет новую жизнь. И для этого он рисует вам только одну сцену: как шарбатым топором здоровый солдат нарубил дров и принес в избу. Вы видите, как востроглазый мальчишка, привыкший к кряхтению слабосильной матери и бабушки, с удивлением, уважением и гордостью любовался на мускулистые засученные руки отца, на энергические взмахи топора, совпадавшие с грудным вздохом мужского труда, и на плаху, которая, как лучина, щепалась под шарбатым топором. Вы посмотрели на это и совершенно успокаиваетесь насчет будущего житья солдатки. Теперь она уж не пропадет, сердечная, думаю я.

«Поутру мать встала, подошла к отцу и говорит: Гордей! вставай, нужно дров, топить печь. Батя поднялся, обулся, надел шапку и говорит: топор есть? Мать говорит: есть шарбатый — пожалуй и не отрубит. Отец мои взял топор обеими руками крепко, подошел к плахе, поставил ее стоячи и ударил изо всех сил и расколочил плаху; наколочил дров и перетаскал в избу. Мать стала топить избу, истопила, и хорошо рассвело».

Но художнику и этого мало. Ему хочется показать вам и другую сторону их жизни, поэзию веселой семейной жизни, и он рисует вам следующую картину: «Когда хорошо рассвело, отец мой говорит: Матрена! Мать подошла и говорит: ну что? Отец говорит: я думаю корову купить, пять овченок, две лошадки да избу, — ведь развалилась... ну, изойдет целковых полтора на все-то. Мать что-то задумалась, потом говорит: ну, а деньги-то мы все растрясем. Отец говорит: мы работать станем. Мать говорит: ну, ладно, купим, да вот что — где истреб-то взять? Отец говорит: у Кирюхи разве нет? Мать говорит: то-то и дело, что нет — Фоканычевы захватили. Отец подумал и говорит: ну, мы возьмем у Брянцева. Мать говорит: и у него навряд ли есть. Отец говорит: ну, как не быть — человек засечный. Мать говорит: как бы он не взял дорого; посмотри, какой он бестия. Отец говорит: я пойду, поднесу водочки и уговорюсь с ним; а ты испеки яичко в золе к обеду. Мать к обеду там кусочек сварила, заняла у своих. Потом отец взял вина и ушел к Брянцеву, а мы остались и долго сидели. Мне стало скучно без отца. Я стал проситься у матери, чтоб она отпустила меня туда, куда отец ушел. Мать говорит: ты заблудишься. Я стал плакать и хотел уйти, но меня мать побила, и я сел на печку и стал дюжей плакать. Потом вижу, вошел отец в избу и говорит: что ты плачешь? Мать говорит: Федюшка хотел за тобой бечь, а я его побила. Отец подошел ко мне и говорит: о чем ты плачешь? Я стал жаловаться на мать. Отец подошел к матери и зачал ее бить, так, нарочно, а сам приговаривает: не бей Федю! не бей Федю! Мать нарочно заплакала. А я сел отцу на колени и был рад. Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закричал: давай нам, мать, с Федею обедать, — мы есть хотим! Вот мать подала нам говядины, мы стали есть. Пообедали, мать говорит: ну, что насчет истреба? Отец говорит: 50 рублей серебром. Мать говорит: это еще ничего. Отец говорит: да, толковать нечего — истреб славный».

Кажется, как просто, как мало сказано, а вам представляется перспектива всей их семейной жизни. Вы видите, что мальчик еще ребенок, который и поплачет, и через минуту будет рад; вы видите, что мальчик не умеет ценить любви матери и променял ее на мужественного отца, рубившего плаху; вы видите, что мать знает, что это так должно быть, и не ревнует; вы видите этого чудесного Гордея, у которого счастье переполняет сердце. Вами замечено, что они ели говядину, и эта

прелестная комедия, которую они все играют, и все знают, что это комедия, но играют от избытка счастья. «Не бей Федю, не бей Федю», — говорит отец, замахиваясь на нее. И привычная к непритворным слезам, мать нарочно заплакала, счастливо улыбаясь на отца и на сына, и этот мальчик, который взлез к отцу на колени, был горд и рад, сам не зная чему, — горд и рад, может быть, тому, что они теперь счастливы.

«Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закричал: давай нам, мать, с Федею обедать, — мы есть хотим».

Мы есть хотим, и рядом посадил. Какая любовь и счастливая гордость любви дышит в этих словах! Прелестнее, задушевнее этой последней сцены нет ничего во всей прелестной повести.

Но что же мы хотим сказать всем этим? Какое значение имеет эта повесть в педагогическом отношении, написанная одним, может быть, исключительным мальчиком? Нам скажут: «Вы, учитель, может быть, помогли, незаметно для себя, составлению этих и других повестей, и найти границы того, что принадлежит вам, и того, что самобытно, слишком трудно». Нам скажут: «Положим, повесть хороша, но это один только из родов литературы». Нам скажут: «Федька и другие мальчики, сочинения которых вы печатали, суть счастливое исключение». Нам скажут: «Вы сами писатель, вы незаметно для себя помогли ученикам такими путями, которые нельзя предписывать другим учителям — не писателям, как правило». Нам скажут: «Из всего этого вывести общего правила или теории невозможно. Отчасти интересное явление и больше ничего».

Постараюсь передать мои выводы так, чтобы они отвечали на все эти, предполагаемые мною, возражения.

Чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия, выражающие только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра. Ложь есть только несоответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет. Я не лгу, говоря, что столы вертятся от прикосновения пальцев, ежели я верю, хотя это и неправда; но я лгу, говоря, что у меня нет денег, когда, по моим понятиям, у меня есть деньги. Никакой огромный нос не уродлив, но он уродлив на малом лице. Уродливость только дисгармония в отношении красоты. Отдать свой обед нищему или самому съесть его не имеет в себе ничего дурного; но отдать или съесть этот обед, когда моя мать умирает с голоду, — есть дисгармония отношений в смысле добра. Воспитывая, образывая, развивая, или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Ежели бы время не шло, ежели бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большей частью самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он стоит сзади нас. Необходимое развитие человека есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие, положенное творцом, к достижению высшего идеала гармонии. В этом-то необходимом законе движения вперед заключается смысл того плода дерева познания добра и зла, которого вкусил наш прародитель. Здоровый ребенок рождается на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра,

которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек рождается совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количества и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый шаг и каждый час грозит нарушением этой гармонии, и каждый последующий шаг и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.

Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель. Развитие ошибочно принимается за цель потому, что с воспитателями случается то, что бывает с плохими ваятелями.

Вместо того чтобы стараться остановить местное преувеличенное развитие или остановить общее развитие, чтобы подождать новой случайности, которая уничтожит происшедшую неправильность, как плохой скульптор, вместо того чтобы соскоблить лишнее, налепливает все больше и больше, — так и воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере, не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей, раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. То одну сторону надо сравнить с другой, то другую надо сравнить с первой. Ребенка развивают дальше и дальше, и все дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза, и все невозможнее и невозможнее делается достижение воображаемого первообраза совершенства взрослого человека. Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы.

Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему от меня нужен только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне. Как только я дал ему полную свободу, перестал учить его, он написал такое поэтическое произведение, которому подобного не было в русской литературе. И потому, по моему убеждению, нам нельзя учить писать и сочинять, в особенности поэтически сочинять, вообще детей и в особенности крестьянских. Все, что мы можем сделать, это научить их, как браться за сочинительство.

Ежели то, что я делал для достижения этой цели, можно назвать приемами, то приемы эти были следующие:

1) Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые серьезные и интересные самого учителя.

2) Давать читать детям детские сочинения и только детские сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых.

3) (Особенно важно.) Никогда во время рассматривания детских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.

4) Так как в сочинительстве трудность заключается не в объеме или содержании, а в художественности темы, то постепенность тем должна заключаться не в объеме, не в содержании, не в языке, а в механизме дела, состоящем в том, чтобы, во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, не повторяться, ничего не пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно время, думая и записывая, одно не мешало другому. С этою целью я делал следующее: некоторые из этих сторон труда я первое время брал на себя, постепенно передавая их все на их заботу. Сначала я выбирал за них из представлявшихся мыслей и образов те, которые казались мне лучше, и запоминал и указывал место и справлялся с написанным, удерживая их от повторений, и сам писал, предоставляя им только облечь образы и мысли в слова; потом я дал им самим и выбирать, потом и справляться с написанным, и, наконец, как при писанье «Солдаткина житья», они и самый процесс писанья взяли на себя.

ДЕТСКАЯ МУДРОСТЬ

О РЕЛИГИИ

Мальчик. Отчего это няня нынче нарядилась и на меня надела вот новую рубашечку?

Мать. А оттого, что нынче праздник, и мы пойдем в церковь.

Мальчик. Какой праздник?

Мать. Вознесенье.

Мальчик. Что значит вознесенье?

Мать. Значит то, что Господь Иисус Христос вознесся на небо.

Мальчик. Что значит вознесся?

Мать. Значит — полетел.

Мальчик. Как же он полетел: на крыльях?

Мать. Не на крыльях, а просто полетел, потому что Он — Бог, и Бог все может.

Мальчик. Ну, а куда же Он полетел? Мне папа говорил, что небо только кажется, а что там нет ничего, что там звезды, и за звездами еще звезды, и небу нет конца. Куда же Он полетел?

Мать (*улыбается*). Всего нельзя понять, надо верить.

Мальчик. Чему?

Мать. Тому, что говорят старшие.

Мальчик. А ты сама мне говорила, что когда я сказал, что кто-нибудь помрет оттого, что просыпали соль, ты мне сказала, что не надо верить глупостям.

Мать. Глупостям и не надо верить.

Мальчик. А почему же я узнаю, что глупости, а что не глупости?

Мать. Потому что надо верить настоящей вере, а не глупостям.

Мальчик. А какая же настоящая вера?

Мать. Наша вера. (*Про себя.*) Кажется, я говорю глупости. (*Вслух.*) Так, поди, скажи папе, что мы идем, и надень шарф.

Мальчик. А после обедни будет шоколад?

О ВОЙНАХ

Карлхен Шмит — 9 лет, Петя Орлов — 10 лет и Маша Орлова — 8 лет.

Карлхен. Потому, что наша Пруссия не позволит, чтобы русские у нас отнимали землю.

Петя. А мы говорим, что эта земля наша, потому что мы ее завоевали прежде.

Маша. Чья наша?

Петя. Ну, ты мала, не понимаешь. Наша — значит, нашего государства.

Карлхен. Все люди так живут, что одни принадлежат одному государству, другие — другому.

Маша. Кому я принадлежу?

Петя. Так же, как и все, — России.

Маша. А коли я не хочу?

Петя. Да это уж ты хочешь, не хочешь, ты все-таки русская. У каждого народа свой царь, король.

Карлхен (*вставляя*). Парламент...

Петя. У каждого свое войско, каждый собирает от своих подати.

Маша. Зачем же так врозь?

Петя. Как зачем? Затем, что каждое государство особо.

Маша. Да зачем врозь?

Карлхен. Как зачем? Затем, что каждый человек любит свое отечество.

Маша. Не понимаю, зачем врозь. Разве не лучше всем вместе?

Петя. Это играть в игрушки лучше вместе, а это — не игрушки, а важные дела.

Маша. Не понимаю.

Карлхен. Вырастешь — поймешь.

Маша. Так не хочу и вырастать.

Петя. Маленькая, а уж упрямая, как все они.

ОБ ОТЕЧЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ

Гаврила — запасный солдат, прислуга. Миша — барчук.

Гаврила. Ну, Мишенька, прощайте, милый барин. Теперь уж приведет ли Бог повидаться.

Миша. Так ты и точно уходишь?

Гаврила. Да как же? Война опять. А я — запасный.

Миша. С кем же война? Кто с кем воюет?

Гаврила. Да Бог их знает. И не разберешь. Я хоть и читал в газетах, да не пойму досконально. Сказывают, австрияк на нашего обиделся за то, что он тех, как бишь их, в чем-то уважил...

Миша. Ты-то зачем идешь? Ну, цари поссорились, пускай они и дерутся.

Гаврила. А то как же? За царя, отечество, веру православную.

Миша. Да ведь тебе не хочется идти?

Гаврила. Кому же хочется. Жену, детей побросать. Да и самому разве охота после жисти хорошей.

Миша. Так зачем же ты идешь? Ты скажи, что «не хочу», и не иди. Что же они тебе сделают?

Гаврила (*смеется*). Что сделают? — Силой потащут.

Миша. А кто же тебя потащит?

Гаврила. Да такие же вот, как я, подневольные люди.

Миша. Зачем же они тебя потащат? Ведь они такие же, как ты.

Гаврила. А то начальство. Велят — и потащут.

Миша. А если они не захотят?

Гаврила. Нельзя.

Миша. Отчего нельзя?

Гаврила. Оттого... оттого, что такого закона нет.

Миша. Какой закон?

Гаврила. И чудно вы говорите! С вами заболтаешься. Пойти на последках самовар поставить.

О ПОДАТЯХ

Старшина и Грушка.

(Старшина входит в бедную избу. Никого нет, кроме 7-летней Грушки. Оглядывается.)

Старшина. Али нет никого?

Грушка. Мамка ушла за коровой, а Федька — на барском дворе.

Старшина. Ну, так скажи мамке, что старшина, мол, заходил. Скажи, в третий раз поминаю, велел, скажи, беспременно принести к воскресенью подати, а то корову сведу.

Грушка. Как, корову сведешь? Ты разве вор? А мы не дадим.

Старшина *(улыбается)*. Вишь, шустрая девчонка какая. Как звать?

Грушка. Грушка.

Старшина. Аи, Грушка, молодец. Так ты слухай, так и скажи матери, что я хоть и не вор, а корову сведу.

Грушка. Зачем же ты корову сведешь, коли ты не вор?

Старшина. А затем, что положено, — то плати. За подати сведу.

Грушка. Какие такие подати?

Старшина. Эка девчонка, зелье. Что подати? — А такие, что от царя положено, чтобы платил народ.

Грушка. Кому?

Старшина. Известно кому. Царю. А уж там рассудят, кому.

Грушка. Разве он бедный? Мы бедные. Царь богатый. Зачем же у нас брать?

Старшина. Он не себе. Он на нас же, дураков, на наши нужды, на начальство, на войску, на ученье. Нам же на пользу.

Грушка. Какая же нам польза, что корову сведешь? Это не польза.

Старшина. Вырастешь, поймешь. Так смотри, скажи мамке.

Грушка. Не стану говорить глупости. Что вам с царем нужно, делайте сами, а что нам нужно, — мы сами себе сделаем.

Старшина. И яд же девка будет, дай вырастет.

ОСУЖДЕНИЕ

Митя — 10 лет, Илюша — 9 лет, Соня — 6 лет.

Митя. Я говорю Петру Семенычу, что можно себя так приучить, чтоб не нужно было одеваться. А он говорит: нельзя. А я ему говорю, что мне Михаил Иванович говорил, что мы приучили же лицо так, что не холодно. Так можно и все тело приучить. Дурак, говорит, твой Михаил Иванович. *(Смеется.)* А Михаил Иванович мне только вчера говорил: много, говорит, врет ваш Петр Семеныч. Ну, говорит, дуракам закон не писан. *(Смеется.)*

Илюша. Я бы ему так и сказал: вы его, а он вас.

Митя. Нет, сурьезно, я так и не знаю, кто из них дурак.

Соня. Оба дураки. Кто кого дураком ругает, тот и дурак.

Илюша. А ты обоих обругала. Стало быть, ты самая дура и есть.

Митя. Нет, мне то не нравится, что друг про дружку так говорят, а в лицо не скажут. Я вырасту большой, так не буду делать. Что думаю, то и буду говорить.

Илюша. И я тоже.

Соня. А я по-своему буду.

Митя. Как по-своему?

Соня. Да так. Когда захочу — скажу, а не захочу — не скажу.

Илюша. Вот и вышла дура.

Соня. А ты сказал, не будешь ругать.

Илюша. Дая не за глаза.

О ДОБРОТЕ

Дети: Маша и Миша, перед домом строят для кукол шалаш.

Миша (*с сердцем, на Машу*). Да не то. Ту палку тащи. Непонятная!

Старуха (*выходит на крыльцо, крестится и приговаривает*). Спаси ее Христос! Вот душа ангельская. Всех жалеет.

(*Дети перестают играть, смотрят на старуху.*)

Миша. Ты о ком?

Старуха. Об матушке об вашей. Помнит Бога. Нас, бедных, жалеет. Вот, и юбку дала, и чайку, и деньжонок. Спаси ее Господи, Царица Небесная. Не так, как тот нехристь. «Много вас, говорит, шляется». И собаки такие же злые. Насилу ушла.

Маша. Это кто же?

Старуха. Да напротив винополки. Ох, недобрый барин. Ну да Бог с ним. Спасибо ей, голубушке, — наградила, утешила горемычную. И как бы жить нам, кабы таких людей не было. (*Плачет.*)

Маша (*к Мише*). Какая она добрая.

Старуха. Вырастете, детки, также не оставляйте бедноту. И вас Бог не оставит.

(*Старуха уходит.*)

Миша. Какая она жалкая.

Маша. А я рада, что мама ей дала.

Миша. А я не знаю, отчего не давать, когда есть. Нам не нужно, а ей нужно.

Маша. Ты помнишь, как Иоанн Креститель говорил: у кого две одежды, отдай одну.

Миша. Да, когда вырасту, я всё буду отдавать.

Маша. Всё нельзя.

Миша. Отчего нельзя?

Маша. А сам как же?

М и ш а. А мне всё равно. Надо быть всегда добрым. И всем хорошо будет.

И Миша бросил играть и пошел в детскую, оторвал от тетради листок и написал что-то в него и положил в карман.

В листке было написано:

«НАДА БУТЬ ДОБРУМ».

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

Отец, Катя — 9 лет и Федя — 8 лет.

Катя. Папа, у нас салазки сломались. Ты не можешь починить?

Отец. Не могу, голубчик. Не умею. Надо Прохору отдать, — он вам починит.

Катя. Да мы были на дворе. Он говорит, ему некогда. Он ворота делает.

Отец. Ну, что же делать, подождите.

Федя. А ты, папа, совсем не умеешь?

Отец (*улыбаясь*). Совсем не умею, дружок.

Федя. Ты и ничего не умеешь?

Отец (*смеется*). Нет, кое-что умею. А того, что Прохор умеет, того не умею.

Федя. А самовары делать, как Василий, умеешь?

Отец. Тоже не умею.

Федя. А лошадей закладывать?

Отец. Тоже не умею.

Федя. А я думаю, отчего мы ничего не умеем делать, а они всё для нас делают. Разве это хорошо?

Отец. Каждому свое. Ты вот учись и узнаешь, что кому нужно уметь делать.

Федя. Разве нам не нужно и уметь кушанье готовить, и лошадей закладывать?

Отец. Есть вещи нужнее этого.

Федя. Да, я знаю: чтобы быть добрым, чтобы не сердиться, не браниться. Да ведь можно и кушанье готовить, и лошадей закладывать, и быть добрым? Правда, ведь можно?

Отец. Разумеется, можно. Погоди, вырастешь, тогда поймешь.

Федя. А коли я не вырасту?

Отец. Какие ты глупости говоришь.

Катя. Так можно Прохору сказать?

Отец. Можно, можно. Подите к Прохору, скажите, что я велел.

О ПЬЯНСТВЕ

Вечер. Осень.

Макарка, 12-ти лет, и Марфутка, 8-ми лет, выходят из дома на улицу. Марфутка плачет. Павлушка, 10-ти лет, стоит на крыльце в соседнем доме.

Павлушка. Куда вас нелегкая несет, ночное дело?

Макарка. Опять закурил.

Павлушка. Дядя Прохор?

Макарка. А то кто ж?

Марфутка. Мамку бьет...

Макарка. И не пойду. Он и меня исколотит. *(Садится у порога.)* Тут и ночевать буду. Не пойду.

(Марфутка плачет.)

Павлушка *(на Марфутку)*. Ну, буде. Ничего. Что же делать? Буде.

Марфутка *(сквозь слезы)*. Кабы я царь была, я бы тех исколотила, кто ему водку дает. Никому бы не велела эту водку держать.

Павлушка. Как не так? Царь сам водкой торгует. Он только другим не велит, чтобы ему убытка не было.

Макарка. Вре.

Павлушка. Вот те и «вре». Поди спроси. За что Акулину в тюрьму посадили? А за то, что не торгуй вином, нам убытка не делай.

Макарка. Разве за это? Сказывали, она что-то против закону.

Павлушка. То и против закону, что вином торговала.

Марфутка. Я бы и ей не велела. Всё это вино. То ничего, а то бьет не судом всех.

Макарка *(к Павлушке)*. Чудно ты говоришь. Спрошу завтра у учителя. Ему нельзя не знать.

Павлушка. Ну и спроси.

На другое утро Прохор, отец Макарки, выспавшись, ушел опохмеляться. Мать Макарки с распухшим, подбитым глазом месила хлебы. Макарка пошел в школу. Ребята еще не собрались. Учитель сидел на крыльчке и курил, пропуская ребят в школу.

Макарка *(подходя к учителю)*. А скажите, Евгений Семеныч, правду это мне вчера один человек сказывал, что царь вином торгует, и Акулину в тюрьму посадил за это самое.

Учитель. И ты глупо спрашиваешь, и дурак тот, кто говорил тебе: царь ничем не торгует. На то он царь. А что Акулину подвергли тюремному заключению, так это за то, что она беспатентно торговала вином, следовательно, казне убыток делала.

Макарка. Почему убыток?

Учитель. Потому что на вино наложен акциз. Ведро на заводе стоит два рубля, а в продаже восемь сорок. Вот этот лишек и составляет доход государству. И доход этот самый большой — семьсот миллионов.

Макарка. Стало быть, что больше пьют вино, то больше дохода.

Учитель. Известно. Не будь этого дохода, не на что бы было содержать ни войско, ни училища, ни все то, что для вас всех нужно.

Макарка. Да если это всем нужно, так отчего же прямо бы не брать это на нужные дела, а зачем через вино?

Учитель. Как зачем через вино? Затем, что, значит, так положено. Ну, ребята, собрались, рассаживайтесь.

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

**Марья Ивановна — жена профессора (шьет).
Федя, ее сын 9-ти лет, (слушает разговор отца).
Иван Васильевич — военный прокурор. Петр
Петрович — профессор.**

Иван Васильевич. Но нельзя же отрицать опыта истории. Мы не только видели это во Франции после революции и в других исторических моментах, но мы видим это теперь у нас, — что пресечение, то есть изъятие извращенных и опасных для общества членов, достигает цели.

Петр Петрович. Нет, мы не можем знать этого, знать дальнейших последствий, и это не оправдывает исключительных положений.

Иван Васильевич. Но мы тоже не имеем права предполагать, что последствия исключительных мер будут дурные, и что если бы они и были дурные, чтобы причина их заключалась именно в применении исключительных мер. Это одно, другое же то, что устрашение не может не действовать на людей, потерявших всякое человеческое свойство и превратившихся в зверей. Чем же другим, кроме устрашения, можете вы подействовать на людей, как тот, который спокойно зарезал старуху и трех детей только для того, чтобы украсть 300 рублей?

Петр Петрович. Но ведь я не отрицаю вообще применение смертной казни, я отрицаю исключительно военные суды, так часто применяющиеся. Если бы эти частые смертные казни производили только устрашение, но вместе с устрашением они производят и развращение: приучают людей к равнодушию, к убийству себе подобных.

Иван Васильевич. Опять мы незнаем дальнейших последствий, а зная благотворность...

Петр Петрович. Благотворность?!

Иван Васильевич. Да, благотворность ближайших, не имеем права отрицать ее. Как же может общество не воздавать по делам его такому злодею, как...

Петр Петрович. То есть, что общество должно мстить?

Иван Васильевич. Не мстить, а, напротив, заменять личную месть общественным возмездием.

Петр Петрович. Да, но тогда оно должно происходить в раз навсегда определенных законом формах, а не в исключительных положениях.

Иван Васильевич. Возмездие общественное заменяет ту месть случайную, преувеличенную, незаконную, часто необоснованную, ошибочную, которую могло бы употреблять частное лицо.

Петр Петрович (*горячась*). Что же, по вашему мнению, это возмездие применяется теперь всегда не случайно, всегда обоснованно, всегда безошибочно? Нет, никогда не соглашусь. Никакие ваши доводы не могут убедить ни меня, ни кого бы то ни было, что эти исключительные положения, при которых казнены тысячи, и казни всё продолжают, — чтобы это было и разумно, и законно, и благотворно. (*Встает и ходит, в волнении.*)

Федя (*к матери*). Мама, о чем папа спорит?

Марья Ивановна. О том, что папа думает, что нехорошо, что так много смертных казней.

Федя. Как, что до смерти убивают?

Марья Ивановна. Да. Он думает, что не надо этого делать так часто.

Федя (*подходит к отцу*). Папа, отчего же в десяти заповедях сказано: не убивать? — Стало быть, совсем не надо?

Петр Петрович (*улыбаясь*). Это сказано не про то, про что мы говорим, а про то, чтобы одни люди не убивали других.

Федя. Да ведь если казнят, то убивают все-таки люди?

Петр Петрович. Разумеется, но надо понимать, почему и когда можно.

Федя. Когда же можно?

Петр Петрович. Ну, как тебе сказать? Ну, война, ну, злодей всех убивает. Как же его так и оставить и не наказывать?

Федя. А как же в Евангелии сказано, чтобы всех любить, всех прощать.

Петр Петрович. Хорошо бы было, если бы можно было так. Да нельзя.

Федя. Отчего нельзя?

Петр Петрович. А оттого. (*Обращается к Ивану Васильевичу, который улыбается, слушая Федю.*) Так вот я, почтенный Иван Васильевич, и не могу, и не могу признать пользы исключительных положений и военных судов.

О ТЮРЬМАХ

**Семка — 13 лет. Аксютка — 10 лет, Митька — 10 лет, Палашка — 9 лет, Ванька — 8 лет.
(Набравши грибов, сидят у колодца.)**

Аксютка. И уж как убивалась тетка Матрена. А ребята — один заголосит, все зальются, зальются.

Ванька. Чего же они режут?

Палашка. Чего режут? Отца в острог ведут. Кому ж реветь.

Ванька. За что в острог?

Аксютка. А кто их знает. Пришли, собирайся, говорят, взяли, повели. Нам всё видать...

Семка. За то и ведут, что лошадей не уводи. У Демкина свел, у Краснова тоже их работа. Не миновал их рук и наш мерин. Что ж, его по головке гладить?

Аксютка. Да что и говорить, только ребят жалко. Четверо ведь их. А беднота — хлеба нет. Нынче к нам приходили.

Семка. А не воруй.

Митька. Да ведь он воровал, а не ребята. Им-то что же, по миру идти?

Семка. А не воруй.

Митька. Да ведь не ребята, а он.

Семка. Эка заладил: «ребята, ребята». Зачем же он худо делает? Что ж, оттого, что много ребят, так ему и воровать?

Ванька. А что ж с ним там в остроге делать будут?

Аксютка. Будет сидеть, да и всё.

Ванька. А кормить будут?

Семка. То-то они не боятся, конокрады проклятые. Что ему острог. На всем готовом, сиди, посиживай. Кабы я царь был, я бы знал, как с этими конокрадами обойтись. Я бы их отучил. А то ему что. Сидит, посиживает с такими же молодцами. Друг друга научают, как лучше воровать. Дед сказывал, что Петруха совсем хороший был малый, а как раз побывал в остроге, такой отпетый оттелева вышел, что беда. С тех пор и начал...

Ванька. Так зачем их сажают?

Семка. А вот ты спроси.

Аксютка. Его посадят на готовый на хлеб...

Семка (*вставляет*). Чтоб он получше обучился.

Аксютка. А ребята с мамкой помирай с голоду. Соседи ведь, жалко. Что с ними станешь делать? Придут хлеба просить, — нельзя не дать.

Ванька. Так зачем же их сажают?

Семка. А что ж с ними делать?

Ванька. Что? Что делать? Как-нибудь так, чтоб...

Семка. Вот то-то, как-нибудь, а как — и сам не знаешь. Поумней тебя думали, да не придумали.

Палашка. А я думаю, что если бы я была царица...

Аксютка (*смеется*). Ну, что ж ты, царица, бы сделала?

Палашка. Атобы сделала, чтоб никто не воровал, и чтоб ребята не плакали.

Аксютка. Да как же ты сделаешь?

Палашка. А так и сделала бы, чтобы всем давать все, что нужно, чтоб никого не обижать, и чтобы всем хорошо было.

Семка. Аи царица. Да как же ты это сделаешь?

Палашка. Да так и сделаю.

Митька Ну, а что же частый березник пройдем? Там анадьсь много девки набрали.

Семка. И то. В ход, ребята. Ты, царица, смотри, не рассыпь свои грибы, а то уж очень шустра.

(Встают и уходят.)

БОГАТСТВО

Сидят на балконе за чаем хозяин, хозяйка, дочь и 6-летний Вася. Дети и взрослые играют в теннис. Подходит молодой нищий.

Хозяин *(к нищему)*. Ты что?

Нищий *(кланяется)*. Известно, что. Пожалейте безработного. Раздемши, не емши идем. В Москве были, теперь до дома пробираюсь. Помогите бедному человеку.

Хозяин. А отчего ты бедный?

Нищий. Известно, отчего, — от нужды.

Хозяин. Работал бы, — не был бы беден.

Нищий. И рад бы работать, да работы нынче нет. Все позакрывали.

Хозяин. Отчего же другие работают, а у тебя нет работы?

Нищий. Верьте совести, всей душой рад бы работать. Не берут. Пожалейте, барин. Второй день не емши иду.

Хозяин *(смотря в комнату, к жене)*. Avez-vous de la petite monnaie? Je n'ai que des assignats*.

* Есть у тебя мелочь? У меня только бумажки.

Хозяйка *(к Васе)*. Поди, умник, у меня в мешке на столике, подле кровати, кошелек — возьми и принеси.

(Вася не слышит матери, смотрит, не спуская глаз с нищего.)

Хозяйка. Вася! не слышишь? *(Дергает его за рукав.)* Вася.

Вася. Что ты, мама?

(Хозяйка повторяет, куда идти, что взять.)

Вася *(вскакивает)*. Сейчас. *Всё оглядывается на нищего, уходит.)*

Хозяин. Подожди, сейчас.

(Нищий отходит к стороне.)

(К жене по-французски.) Это ужасно, сколько их ходит без работы. Всё лень. Но все-таки ужасно, если он голоден.

Хозяйка. Преувеличение. Говорят, то же и за границей. Я читала, в Нью-Йорке что-то около 100 000 безработных. Хочешь еще чаю?

Хозяин. Налей послабее. *(Закуривает. Молчание.)*

(Нищий смотрит на них, покачивает головой и кашляет, очевидно, обращая на себя внимание.)

(Вася прибегает с кошельком и тотчас ищет глазами нищего и, подавая кошелек матери, уставляет на него.)

Хозяин *(достает гривенник из кошелька)*. Так вот, ты, как тебя, получи.

Нищий *(снимает шапку, кланяется, берет монету)*. Благодарю, спасибо и на этом. Благодарю за то, что пожалели бедного человека.

Хозяин. Жалею, главное, о том, что не работаете. Работали бы, так не были бы бедны. Кто работает, тот не будет беден.

Нищий *(получив деньги, надевает шапку и, повернувшись, говорит)*. Это точно, что от работы будешь не богат, а горбат.

(Уходит.)

Вася. Что это он сказал?

Хозяин. А сказал ихнюю глупую мужицкую пословицу, что от работы не будешь богат, а будешь горбат.

Вася. Что это значит?

Хозяин. А то, что будто бы от работы только сгорбишься, а не разбогатеешь.

Вася. Это неправда?

Отец. Разумеется, неправда. Те, кто так, как эти, шлятся и не хотят работать, те всегда бедны. Богаты бывают только те, кто работает.

Вася. Отчего же мы не работаем, а богаты?

Мать *(смеется)*. Почему же ты знаешь, что папа не работает?

В а с я. Я не знаю, но ведь мы очень богаты, стало быть, папе надо ух как много работать. А разве он так много работает?

Отец. Работа работе рознь. Может, моя работа такая, что ее не всякий может работать.

Вася. Какая же твоя работа?

Отец. Моя работа та, чтоб вас всех кормить, одевать, учить.

Вася. Да ведь и у него — то же. За что же ему надо ходить таким жалким, а мы вот такие...

Отец *(смеется)*. Вот так самородный социалист.

Мать. Да, говорится: Ein Narr kann mehr fragen, als tausend Weise antworten *(Всякий дурак задает такие вопросы, что и сто мудрых не ответят)*. Надо бы сказать: Ein Kind *(не дурак, а всякий ребенок)*.

ЛЮБИТЕ ОБИЖАЮЩИХ ВАС

Маша 10-ти лет и Ваня — 8-ми.

Маша А я сейчас думаю: вот если бы мама вернулась сейчас и взяла бы нас с собой, и мы все бы поехали сначала в пассаж, а потом к Насте. А тебе чего бы хотелось?

Ваня. Мне? Мне бы хотелось, чтобы было, как вчера.

М а ш а. Да что ж такого вчера было? То, что тебя Гриша побил, и потом вы с ним расплакались? Тут хорошего мало.

Ваня. А вот это самое и хорошо было. Так хорошо было, что лучше ничего не бывает. Вот этого бы мне и хотелось.

Маша. Не понимаю.

Ваня. А это вот что. Я тебе растолкую, чего мне хочется. Помнишь, как в прошлое воскресенье дяденька П.И... как я его люблю...

Маша. Кто ж его не любит. Мама говорит, что он святой. Это и правда.

Ваня. Так помнишь — прошлое воскресенье он рассказывал историю, как одного человека все обижали, и кто больше обижал, тех он больше любил. Они его ругают, а он их хвалит. Они его бьют, а он им помогает. Дяденька говорит, что если так делать, так очень хорошо тому, кто так делает. Мне это понравилось, я и захотел так делать. И вот, когда Гриша побил меня вчера, я вспомнил это и стал его целовать, а он заплакал. И так мне стало весело. А с няней вчера я ошибся: она меня стала бранить, а я забыл, как надо, и сам нагрубил ей. И вот мне теперь хочется еще раз попробовать, как с Гришей было.

Маша. Так тебе хотелось, чтобы тебя побил кто-нибудь?

Ваня. Даже очень бы хотелось. Я бы сейчас сделал то же, что с Гришей, и сейчас же мне бы стало весело.

Маша. Вот глупости-то. Как был глуп, так и остался.

Ваня. Ну, что ж, глуп так глуп, а только я знаю теперь, как надо делать, чтобы всегда было хорошо.

Маша. Ужасный дурак! И точно хорошо от этого бывает?

Ваня. Очень.

ПЕЧАТЬ

Классная. Володя, гимназист 14-ти лет, читает, готовит уроки. Соня, 15-ти лет, пишет.

Дворник (*входит с тяжелой ношей за спиной, за ним Миша, 8-ми лет*). Куда, барин, самую эту историю сложить? Все плечи оттянуло.

Володя. Да куда тебе велели?

Дворник. Василий Тимофеевич сказал: неси пока в классную, пока сам придет.

Володя. Ну, так сюда, в угол. (*Опять читает.*)

(*Дворник сваливает, вздыхает.*)

Соня. Это что? Володя. «Правда», газета. Миша. Как правда?

Соня. Как, так много?

Володя. За весь год. *(Продолжает читать.)*

Миша. Всё это писано?

Дворник. Ну, и сказать, что не гуляли те, что писали.

Володя *(смеется)*. Как ты сказал?

Дворник. Да как сказал. Писали, не гуляли, говорю. Так я пойду, вы скажите, что я принес. *(Уходит.)*

Соня *(к Володе)*. Зачем же это папе всю газету?

Володя. Он хочет выбрать статьи Большакова.

Соня. А дядя Михаил Иванович говорит, что ему от Большакова тошно делается.

Володя. Ну, то дяденька Михаил Иванович. Он только одну «Истину для всех» читает.

Миша. А эта дяденькина «Истина» такая же большая, как эта?

Соня. Еще больше. Да ведь это за один год, а они лет по 20 выходят.

Миша. Таких 20, да еще 20.

Соня *(хочет удивить Мишу)*. Это что. Это две газеты, а их выходит 30 или больше.

Володя *(не поднимая головы)*. 30? 530 в России, а если взять все, что за границей, то тысячи.

Миша. В эту комнату не уложатся?

Володя. В эту комнату?! В нашу улицу не уложатся. Ну, да не мешайте мне, пожалуйста. Завтра, наверное, спросят, а вы со своими глупостями. *(Опять читает.)*

Миша. А я думаю, что это не надо так много писать.

Соня. Отчего не надо?

М и ш а. А оттого не надо, что если правда, так что ж всё одно и то же говорить, а если неправда, так не надо врать.

Соня. Вот так решил!

Миша. Зачем же они так ужасно много пишут?

Володя *(от книги)*. А без свободы печати почем узнаем, где правда.

Миша. Папа вот говорит, что в «Правде» правда, а дядя Михаил Иванович — что ему от «Правды» тошно делается. Как же они узнают, где правда: в «Правде» или в «Истине».

Соня. Это точно. Я думаю, что слишком много газет, журналов, книг.

Володя. Вот и видна женщина. Всегда легкомыслие.

Соня. Нет, я говорю, что оттого, что слишком много, нельзя узнать.

Володя. На это каждому ум дан, чтобы рассудить, где правда.

Миша. А если у каждого ум есть, то и может каждый сам рассудить.

Воля. Вот ты от большого ума и рассудил, но, пожалуйста, иди куда-нибудь, мне не мешай.

РАСКАЯНИЕ

Воля, 8-ми лет, стоит в коридоре с пустой тарелкой и плачет.

Федя, 10-ти лет, вбегает в коридор и останавливается.

Федя. Мама велела узнать, где ты. Да ты что ж плачешь? Няне снес? *(Видит пустую тарелку— свистит.)* Где ж пирожное?

Воля. Я... я... я хотел, я... и вдруг... у, у, у, нечаянно съел.

Федя. Не донес до няни, съел? Вот так ловко. А мама думала, что ты рад снести няне.

Воля. Да я и рад... да вдруг... нечаянно... у, у, у.

Федя. Попробовал, да и съел. Ловко. *(Смеется.)*

Воля. Да, тебе... хорошо... смеяться, а как я скажу... и к няне нельзя, и к маме нельзя...

Федя. Ну, брат, наделал дела... ха, ха, ха. Так всё и съел? Да что ж плакать? Надо придумать...

Воля. Что ж я могу придумать? Что мне теперь делать?

Федя. Ну, дела! *(Старается не смеяться. Молчание.)*

Воля. Что мне теперь делать? Пропал я. *(Ревет.)*

Федя. Об чем же так огорчаться. Будет реветь-то. Просто поди скажи маме, что съел.

Воля. Это еще хуже.

Федя. Ну так няне признайся.

Воля. Как я ей скажу.

Федя. Так слушай же: постой здесь, я сбегаю к няне, расскажу, она ничего.

Воля. Нет, не говори. Как я ей скажу.

Федя. Вот пустяки! Ну, ошибся, что ж делать! Я сейчас ей скажу.

(Убегает.)

Воля. Федя, Федька. Постой. Убежал. Только попробовал, а потом и не помню как, и вот наделал, что мне теперь делать? *(Ревет.)*

(Прибегает Федя.)

Федя. Да будет реветь. Я как и говорил тебе, что няня простит. Она только и сказала; ах, мой голубчик!

Воля. Что ж, и не сердится?

Федя. И не думает. — Бог с ним, говорит, с пирожным, я бы ему и так отдала.

В о л я. Да ведь я нечаянно. *(Опять плачет.)*

Федя. Ну об чем же теперь? Маме не скажем, а няня простила.

Воля. Няня простила. Я знаю, что она хорошая, добрая. А я?.. Я гадкий, гадкий. Об этом и плачу.

ОБ ИСКУССТВЕ

Лакей, экономка.

Лакей *(с подносом)*. Миндального молока к чаю и рому.

Экономка *(вяжет чулок и считает петли)*. 22, 23...

Лакей. Слышите, что ли, Авдотья Васильевна? А, Авдотья Васильевна!

Экономка. Слышу, слышу, сейчас. Не разорваться мне. *(К Наташе.)* Сейчас, милочка, и вам черносливцу принесу. Вот дай срок — молоко отпущу. *(Цедит молоко.)*

Лакей *(присаживается)*. Ну, уж посмотрелся я. И за что только деньги платят.

Экономка. Это что же, в киятре были? Что-то долго нынче?

Лакей. Опера всегда долго. Сидишь, сидишь. Спасибо, пустили посмотреть. Чудно.

(Буфетный мужик Павел входит со сливками и останавливается слушать.)

Экономка. Пение, значит?

Лакей. Какое пение! Так, дуром горланят. И не похоже вовсе. Я, говорит, ее очень как люблю. И всё это на голос выводит, и не похоже совсем. А то повздорили, надо им драться, а они опять поют.

Экономка. А ведь, сказывают, дорого стоит абонент.

Лакей. За нашу ложу 300 рублей за 12 приставлений.

Павел *(качает головой)*. 300 рублей! Кому же эти деньги-то идут?

Лакей. Известно кому: кто поет, тому и платят. Сказывают, певица в год 50 тысяч выручает.

Павел. Тут уж не до тысяч речь, а на 300 рублей в деревенском быту... ох, много денег. Другой всю жизнь бьется, — не 300, а и сотни не добьется.

(Гимназистка шестого класса приходит в буфет.)

Нина. Наташа тут? Что же ты пропала, мама спрашивает.

Наташа *(жуёт чернослив)*. Я сейчас.

Нина *(к буфетному мужику)*. Что это ты говоришь: 100 рублей?

Экономка. Да рассказывал Семен так *(указывает на лакея)*, как он нынче в театре пение слушал, и что как много певицам платят, так вот Павел дивится. Неужели и правда, Нина Михайловна, что певица-то 50 тысяч выручает?

Нина. Еще больше. Одну певицу пригласили в Америку, 150 тысяч дали. Да не это одно. Вчера в газетах было, что музыкант один за ноготь 25 000 получил.

Павел. Мало ли что пишут. Разве это можно?

Нина (*с видимым удовольствием*). Верно я тебе говорю.

Павел. За что же, за ноготь 25 тысяч?

Наташа. За что же?

Н и н а. А за то, что он музыкант на фортепьяно и застрахован. Так что если что-нибудь с рукой случится и нельзя играть, так ему выплачивают.

Павел. Ну, дела.

Сеничка (*гимназист 6-го класса, входит*). Вот у вас какое заседание здесь. О чем это?

(*Нина рассказывает.*)

Сеничка (*еще с большим удовольствием*). Мало того, что за ноготь. В Париже танцовщица застраховала ногу за 200 000. Значит, если свихнет и не сможет работать.

Лакей. Это те, что, с позволения сказать, без порток ногами работают?

Павел. Ну, уж и работа, как не платить деньги!

Сеничка. Да ведь не всякий может, да и сколько лет училась.

Павел. Чему училась-то? Добру или как ногами вертеть?

Сеничка. Ну, ты не понимаешь. Искусство — великое дело.

Павел. А я думаю, пустяки одни, с жиру дурашные деньги платят. Кабы деньги так, как нам, доставались горбом, этих бы ни плясунов, ни песенниц не было бы. А то им и вся цена-то грош. Ну, да что.

Сеничка. Что значит необразован. Для него и Бетховен, и Виардо, и Рафаэль — всё вздор.

Наташа. Ая думаю, он правду говорит.

Нина. Пойдем, пойдем.

НАУКА

Два гимназиста: реалист и классик, и два близнеца, братья классика: Володя и Петруша, 8-ми лет.

Реалист. Зачем же мне и латинский, и греческий, когда всё, что есть важного, хорошего, всё уже переведено на новые языки.

Классик. Никогда не поймешь Илиаду, если не будешь читать ее по-гречески.

Реалист. Да мне и вовсе читать ее не нужно. Да и не хочу.

Володя. А что такое Илиада?

Реалист. Сказка.

Классик. Да, но такая, какой другой нет в мире.

Петруша. Чем же она так хороша?

Реалист. Да ничем, сказка как сказка.

Классик. Да, только настоящего понимания древности никогда не достигнешь, если не будешь знать этих сказок.

Реалист. А по-моему, это такое же суеверие, как то, что называется законом Божиим.

Классик (*горячась*). Закон Божий — ложь и вранье, а это — история и мудрость.

Володя. Разве закон Божий — вздор?

Классик. И что вы тут сидите. Ведь вы ничего не понимаете.

Оба (*обиженно*). Отчего же не понимаем?

Володя. Может быть, лучше вашего понимаем.

Классик. Ну, хорошо, хорошо, только не мешайтесь в разговоры, сидите смирно. (*К реалисту.*) Ты говоришь, что нет приложения к жизни древних языков, да ведь то же самое можно сказать и про бактериологию, и про химию, и про физику, и про астрономию. На что тебе знать о расстоянии звезд и их объеме и все эти, никому ни на что не нужные, подробности.

Реалист. Почему ненужные, очень нужные.

Классик. На что же?

Реалист. Как, на что? На всё. А мореплавание?

Классик. Это и без астрономии.

Реалист. Но зато практическое приложение к земледелию, к медицине, к промышленности...

Классик. Да что же, эти самые данные прилагаются и к бомбам, и на войнах, и у революционеров. Если бы эти знания делали бы то, чтобы люди лучше жили...

Реалист. А разве от вашей науки люди лучше делаются?

Володя. А какие науки, от каких люди лучше делаются?

Классик. Я говорил тебе, не мешайся в разговор с большими. Всё и говоришь глупости.

Володя и Петруша (*в один голос*). Ну, глупости, не глупости, а только какие науки, чтобы жить хорошо?

Реалист. Таких нет. Это сам всякий для себя делает.

Классик. Ну, что ты с ними разговариваешь, ничего они не понимают.

Реалист. Нет, отчего же. Этому, Володя, Петруша, в гимназиях не учат.

Володя. А этому не учат, так и не надо учиться.

Петруша. Мы вырастем большие, не станем учиться тому, что не нужно.

Володя. А будем сами жить лучше.

Классик (*смеется*). Вот так мудрецы, рассудили.

СУД

Крестьянин, его жена и кума, Федор — сын, 19-ти лет, Петька — другой сын, 9-ти лет.

Отец (*входит в избу, раздевается*). Ну и погодка, насилу добрался.

Мать. Рази ближний свет. Верст, я чай, 15 будет?

Отец. И все 20. (*К сыну Федору.*) Убери поди мерина-то.

Мать. Ну, что же, на нашу руку присудил?

Крестьянин. Черта с два присудил. Ничего толков нет.

Кума. Да в чем, куманек, дело-то, я не разберу.

Крестьянин. Ав том дело, что захватил Аверьян мой огород и владеет, а я концов не найду.

Жена. Уж 2-й год судимся.

Кума. Знаю, знаю. Как же, тогда постом-то в волости судились. Мой сказывал, тебе присудили.

Крестьянин. То-то и дело, а Аверьян земскому подал. А земский возьми да и поверни опять все дело назад. Я к судье. Судья мне присудил. Надо бы конец, так нет, опять ему присудили. Тоже судьи!

Жена. Ну, как же теперь быть?

Крестьянин. А так же, не дам я ему своего, — на вышний суд подам. Я уж и аблаката подговорил.

К у м а. А ну, как и в вышнем суде на его руку потянут?

Крестьянин. Еще выше подам. Хоть последнюю корову просужу, а не поддамся толстопузому дьяволу. Будет меня знать!

Кума. Ох, горе, горе суды эти. А ну, как и эти ему присудят?

Крестьянин. Царю подам. Пойти сена мерину дать. (*Уходит.*)

Парень, 9-ти лет. А коли царь присудит, тогда кому подавать?

Ж е н а. Да уж после царя некому.

Парень, 9-ти лет. Отчего же они так судят, — одни за Аверьяна, другие за тятьку?

Мать. Должно оттого, что сами не знают.

Парень, 9-ти лет. Так зачем их и спрашивать, коли они не знают?

Жена. А затем, что никому не хочется своего отдавать.

Парень, 9-ти лет. А я, когда вырасту, так так буду делать: если поспорю с кем об чем, — так кинем жребий, кому достанется. Кому выйдет — и конец. Мы так завсегда с Акулькой делаем.

Кума. А что же, кума, пожалуй, что сходнее так-то, пра. Без греха.

Жена. Как есть. Что из-за этого истратили, — и огород того не стоит. Ой, грехи, грехи!

СУД УГОЛОВНОГО

**Ребята: Гришка, 12-ти лет, Семка, 10-ти лет,
Тишка, 13-ти лет.**

Тишка. А затем, что не залезай в чужой заком. Вот, посадят в тюрьму, — другой раз и побоится.

Семка. Да хорошо, как за дело, а то дед Микита сказывал, Митрофана вовсе понапрасну посадили.

Тишка. Как же понапрасну. Что ж, ему, кто зря присудил, ничего не будет за это?

Гришка. Тоже по головке не поглядят. Если не по закону судить, — тоже накажут.

Семка. А кто же накажет?

Тишка. А кто выше его.

Семка. А кто выше его?

Гришка. Начальство,

Семка. А коли и начальство ошибется?

Гришка. На то и еще выше есть. И тех накажут. На то и царь есть.

С е м к а. А если царь ошибется, тогда кто его накажет?

Гришка. Кто накажет, кто накажет? Известно...

Тишка. Бог накажет.

Семка. Так ведь Бог и того накажет, что корову украл. Так пускай бы Бог и наказывал один всех, кто виноваты. Бог уж не ошибется.

Гришка. Видно, нельзя так.

Семка. Отчего?

Гришка. Оттого...

СОБСТВЕННОСТЬ

**Старик-плотник чинит перила балкона.
Семилетний барчук см любителюся на работу
плотника.**

Барчук. Как вы хорошо работает. Вас как звать?

Плотник. Нас как звать? Звали Хролкой, а нынче уже Хролом, да еще чем величают.

Барчук. Как вы хорошо работаете, Хрол Савич.

Плотник. Работать, так уж хорошо. Зачем же плохо работать?

Барчук. А у вас есть балкон?

Плотник *(смеется)*. У нас! У нас, паренек, такой балкон, что этот ваш не годится. У нас балкон без окон. А войдешь, иди вон. Вот какой у нас балкон.

Барчук. Вы все шутите. Нет, точно. — Есть у вас такой балкон? Я серьезно.

Плотник. Эх, паренек голубчик, балкон! Какой у нашего брата балкон! Нашему брату дай Бог крышу над головой, А то балкон. С весны затеял строиться. Старую сломать — сломал, а новую — всё не доведу. И теперь без крыши стоит, прееет.

Барчук *(удивленно)*. Отчего же?

Плотник. Вот, и отчего же... А оттого, что силы не хватает.

Б а р ч у к. Да как же силы не хватает. Ведь вот, вы нам работаете.

Плотник. Вам-то работаю, а себе — не могу.

Барчук. Отчего? Я не понимаю, растолкуйте мне.

Плотник. Вырастешь, молодчик, поймешь. На вас работаю, а на себя — нельзя.

Барчук. Отчего?

Плотник. А оттого, что лесу надо, а его нет, — купить надо. А купила-то и нет. Вот у вас поработаю, — мамаша заплатит (ты ей скажи, чтобы побольше заплатила), и я в рощу поеду, — осин пяток на верх возьму, тогда и крышу доделаю.

Барчук. Ау вас разве своего леса нет?

Плотник. У нас леса такие, что три дня иди, конца не найдешь. Одно горе — не наши.

Барчук. А вот мамаша говорит, что ее больше всего наш лес мучает, все неприятности у нее от леса.

Плотник. В том-то и беда. У мамыши неприятности оттого, что леса много, а у меня неприятности оттого, что нет его ничего. Ну, с вами разболтался, работу забыл, а нашего брата не хвалят за это. *(Берется за работу.)*

Барчук. Я, когда вырасту, сделаю так, чтобы у меня ровно со всеми, всего ровно со всеми было.

Плотник. Вырастай поскорее, а то я не дождусь. Только, мотри, не забывай. И куда это я рубанок дел?..

ДЕТИ

Барыня с детьми, мальчик, гимназист, 14-ти лет, Таничка, 5-ти лет. Ходят в саду. К ним подходит крестьянка-старуха.

Барыня. Ты что, Матрена?

Старуха. К вашей милости.

Барыня. Да об чем?

Старуха. Да что, матушка-барыня, и говорить совестно, да что поделаешь. Опять родила кумушка-то ваша. Мальчонку Бог дал. Приказала просить, не приведете ли в православную веру?

Барыня. Да ведь она недавно родила?

Старуха. Как сказать? Летось, постом, год был.

Барыня. Сколько ж у тебя внуков теперь?

Старуха. И, матушка, и не перечесть, отдала бы половину. И всё мал мала меньше. Беда.

Барыня. У дочери сколько?

Старуха. Седьмой, матушка-барыня, и все живы. Хоть бы прибрал Бог которых.

Барыня. Что ты говоришь. Как можно так говорить!

Старуха. Да что станешь делать. И согресишь, окаянная. Да уж нужды много. Что ж, матушка, пожалейте нас, окрестите. А то, верите Богу, барыня, не то что попу заплатить, а и хлеба вволю нет. Мелкота всё. Зять в людях. А мы с бабой одни. Я старая, а она то с брюхом, то с ребенком. Какая же от нее работа. Во все дела всё я одна. А арава эта только то и знает, что есть просит.

Барыня. Неужели семеро?

Старуха. Однова дыхнуть, семеро, Старшенькая только-только стала подсоблять, а то всё мелкота.

Барыня. Да отчего же это уже так много?

Старуха. Что станешь делать, матушка-барыня. Придет на побывку али на праздник. Дело молодое. А живет в городе, близко. Хоть бы куда занесло его в даль.

Барыня. Да, кто плачется, что детей нет и что умирают, а вы плачетесь, что много слишком.

Старуха. Много, много. Не под силу. Что же, матушка-барыня, обнадежить ее?

Барыня. Хорошо. Тех крестила, и этого буду. Мальчик?

Старуха. Малый, да и здоровенный, не судом кричит... Когда же прикажете?

Барыня. Когда хотите.

(Старуха благодарит и уходит.)

Таничка. Мама, отчего у одних дети есть, а у других нет? У тебя есть, у Матрены есть, а у Параша нет.

Барыня. Параша не замужем. Дети рожаются, когда женятся. Женятся, станут мужем с женой, тогда рожаются дети.

Таничка. Всегда рожаются?

Барыня. Нет, не всегда, — вот, у повара жена есть, а детей у них нет.

Таничка. А нельзя сделать так, чтоб кто хочет, чтобы у него были дети, чтоб они рожались, а кто не хочет, чтоб они не рожались.

Мальчик. Какие ты глупости спрашиваешь.

Таничка. Совсем не глупости. Я думала, что если Матрениной дочери не хочется детей, так сделать так, чтоб их не было. Мама, можно так сделать?

Мальчик. Вот я и говорю, что ты глупости болтаешь, чего не знаешь.

Таничка. Мама, можно так сделать?

Барыня. Как тебе сказать. Мы этого не знаем. Это от Бога.

Таничка. Да от чего дети рожаются?

Мальчик. От козла. *(Смеется.)*

Таничка *(обиженно)*. Ничего смешного нет. Я думаю, что если Матрена говорит, что им трудно от детей, то надо так сделать, чтоб они не рожались. Вот, у няни, например, нет и не было детей.

Барыня. Да ведь она девушка, не замужем.

Таничка. Так и всем, кто не любит детей, надо так. А то как же, — дети рождаются, а их кормить нечем.

(Барыня переглядывается с мальчиком и молчит.)

Когда вырасту большая, непременно женюсь и сделаю так, чтобы у меня были девочка и мальчик. А больше — чтоб не было. А то разве хорошо, — дети есть, а их не любят. Я своих, зато, как любить буду! Правда, мама? Я пойду к няне, у нее спрошу. *(Уходит.)*

Барыня *(сыну)*. Да, как это говорится: из уст младенцев... что то истина, истинная правда, что она говорит. Если бы люди понимали, что женитьба — великое дело, а не забава, что жениться надо не для себя, а для детей, — не было бы этих ужасов, подкинутых, брошенных детей, не было бы того, как у Матрениной дочери, что дети не радость, а горе.

ВОСПИТАНИЕ

Дворник чистит замки. Катя, 7-ми лет, строит домики из кирпичиков, Николай, гимназист, 15-ти лет, входит, швыряет книгу.

Николай. Черт их дери, и с гимназией треклятой!

Дворник. А что?

Николай. Опять палку закатали. Опять история будет. Черт бы их подрал! Очень мне нужна география проклятая. Какие-то Калифорнии. На черта мне их знать!

Дворник. Да что ж они вам сделают?

Николай. Опять оставят.

Дворник. Да отчего же вы не учитесь?

Николай. Отчего? — Оттого, что не могу глупости учить. Эх, пропадай всё! *(Кидается на стул.)* Пойду скажу мамаше. Не могу, да и всё тут. Пускай делают, что хотят. А я не могу. А не возьмет меня из гимназии, уйду. Ей-богу, уйду.

Дворник. Куда ж уйдете-то?

Николай. Из дома уйду. Наймусь в кучера, в дворники, — все лучше этой чертовской глупости.

Дворник. Да ведь в дворниках тоже трудно. Рано вставать, дрова колоть, носить, топить.

Николай. Фю (*свищет*). Это праздник. Дрова колоть, любимое дело. Вот удивил! Да это самое любезное дело. Нет, ты по-пробовай географию учить.

Дворник. Это точно. Зачем же она вам? Принуждают?

Николай. А вот ты спроси — зачем, зачем? Не зачем. — Так заведено. Они думают, что без этого нельзя.

Дворник. А затем, чтобы потом служить, чины получать, жалованье, как вот папаша, дядюшка.

Николай. А коли я не хочу.

Катя. А коли он не хочет?

(*Входит мать с запиской в руке.*)

Мать. А мне директор пишет, — у тебя опять единица. Этак нельзя, Николинька. Одно из двух: или учиться, или не учиться.

Николай. Разумеется, одно: не могу, не могу и не могу. Отпустите меня, ради Бога. Не могу я учиться.

Мать. Как, не могу?

Николай. Так, не могу, — не идет мне это в голову.

Мать. Не идет потому, что ты не о том думаешь. У тебя всё глупости в голове. Ты не думай о глупостях, а думай о том, что тебе задают.

Николай. Маменька, я серьезно говорю. Пустите меня. Мне ничего не нужно, только избавьте меня от этого ужасного учения, от этой каторги. Не могу!

Мать. Что ж ты будешь делать?

Николай. Это — мое дело.

Мать. Нет, это не твое дело, а мое. Я дам Богу ответ за вас, я должна воспитать вас.

Николай. Да если я не могу!

Мать (*строго*). Что за глупости: не могу. Я в последний раз говорю с тобой, как мать. Прошу тебя перемениться и исполнить то, что от тебя требуют. Если же ты не слушаешь меня теперь, я должна буду принять меры.

Николай. Я вам сказал, что не могу и не хочу.

Мать. Николай, берегись.

Николай. Нечего беречься. За что вы меня мучаете? Это вы не понимаете.

Мать. Не смей говорить так. Как ты смеешь говорить! Вон отсюда! Смотри!

Николай. И уйду. Ничего не боюсь. Ничего мне от вас не нужно.

(*Убегает, хлопая дверью.*)

Мать (*сама с собой*). Ах, измучил он меня. Ведь я знаю, отчего всё это. А всё оттого, что он думает не о том, что должно, а о своих глупостях: о собаках, о курах.

Катя. Да как же, мама, помнишь, ты сама мне рассказывала, как нельзя не думать о белом медведе.

Мать. Не про то я говорю, а про то, что надо учиться, когда велют.

Катя. Да он говорит, что не может.

Мать. Он говорит пустяки.

К а т я. Да ведь он не говорит, что не хочет ничего делать, он только учиться географии не хочет. А он хочет работать, хочет в кучера, в дворники.

Мать. Если бы он был дворников сын, он бы и был дворником, а если он — сын твоего отца, то ему надо учиться.

Катя. А он не хочет учиться.

Мать. Мало ли чего он хочет или не хочет, надо слушаться.

Катя. А если не может?

Мать. Смотри, и ты так же не делай.

Катя. А я именно так и хочу. Ни за что не стану учиться, чему не хочу.

Мать. И будешь дура.

Катя. А я, когда вырасту большая и у меня будут дети, ни за что не стану их заставлять учиться. Хотят, пускай учатся, а не хотят, и не надо.

Мать. Вырастешь, не будешь так делать.

Катя. Нет, непременно буду.

Мать. Не будешь, когда вырастешь.

Катя. Нет, буду, буду, буду.

Мать. Ну, и будешь дура.

Катя. Няня говорит, что и дураки, и дуры Богу нужны.

Комментарии

НЕДЕЛАНИЕ

КАК И ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

ВЕРЬТЕ ТОМУ ВЕЧНОМУ, РАЗУМНОМУ И БЛАГОМУ НАЧАЛУ,
КОТОРОЕ ЖИВЕТ В ВАС

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

НАШЕ ЖИЗНЕПОНИМАНИЕ

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

О ВОСПИТАНИИ

ВАРИАНТ СТАТЬИ «О ВОСПИТАНИИ»

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯБЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ ПО НРАВСТВЕННЫМ ВОПРОСАМКОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?ДЕТСКАЯ МУДРОСТЬ**НЕДЕЛАНИЕ**

В газете «Русские ведомости» от 12 мая 1893 г. (№ 128) была напечатана корреспонденция из Парижа: «Золя и студенчество (От нашего корреспондента)». В ней подробно излагалась речь Э.Золя на банкете студенческого союза. По поводу этой речи Толстой писал ДАХилкову 15 мая 1893 г.: «Вчера читал в Русских Ведомостях речь Zola к студентам против проявляющегося в них расположения к мистицизму, как он называет религиозные течения в новой французской молодежи... И против этого он им рекомендует науку и труд, не объясняя того, что мы должны называть и признавать наукой, и, главное, какой труд».

Вскоре Толстой получил от редактора французского журнала «La revue des revues» Эрнеста Смита две вырезки из французских газет. Одна из них содержала речь Э.Золя, другая — письмо Александра Дюма-сына к редактору газеты «Gaulois».

Толстой писал сыну Льву Львовичу и дочери Марии Львовне: «...Теперь пишу о двух статьях Золя и Дюма, которые мне прислал редактор "Revue des Revues". Очень интересные письма о духе времени и о том, чем это кончится, и что делать. Dumas говорит: "Я думаю, что теперь наступает время, когда мы серьезно примемся исполнять слова: любите друг друга, — не разбирая того, кто сказал их, Бог или человек". В этом одном он видит выход из тех противоречий, в которых мы запутались. А письмо Золя напротив, очень глупое». В тот же день Толстой в Дневнике отметил, что начал статью «О письме Золя и Дюма», а 18 июня 1893 г. сообщал П.И.Бирюкову, что статью кончил и она переписывается. 19 июня с уезжавшим из Ясной Поляны А.М.Кузминским Толстой отослал статью в Петербург некоему Вилло для перевода на французский язык (для французского журнала Жюля Симона «Revue de famille»).

Одновременно, Толстой намеревался напечатать «Неделание» и в России в журнале «Северный вестник». Издательница журнала Л.Я.Гуре-вич, в письме от конца июня 1893 г., благодарила Толстого за обещание прислать статью и просила не задерживать ее переделки, о которой ей говорил А.М.Кузминский.

Толстой намерен был, наряду с общей доработкой статьи, «смягчить» имевшиеся в ней «резкости» в отношении Золя.

Получив в начале июля 1893 г. от Вилло русский текст и перевод «Неделания», Толстой снова начал переделывать (и русский текст, и французский) и закончил эту работу только 9 августа 1893 г.

9 августа 1893 г. французский перевод «Неделания», после тщательной переработки Толстым, был возвращен в Петербург переводчику Вилло. В этот же день Толстой, посылая русский текст статьи в «Северный вестник», писал Л.Я.Гуревич: «Статья моя окончена, но она очень изменилась и не к лучшему, в отношении цензурном. Не знаю, как вы с ней справитесь».

При содействии А.Ф. Кони статья «Неделание» 28 августа 1893 г. получила цензурное разрешение и впервые была опубликована на русском языке в «Северном вестнике», 1893, № 9, стр. 281—304.

Редакция «Северного вестника», чтобы провести статью через цензуру, внесла в текст некоторые изменения: «подровняла кое-какие отдельные выражения» (письмо Л.Я. Гуревич к Толстому от 7 сентября 1893 г.).

В письме от 13 сентября 1893 г. Л.Я. Гуревич обещала Т.Л. Толстой прислать корректурный оттиск «Неделания» «с приписками тех словечек, которые пришлось вынуть, в угоду цензуре». Этот оттиск в настоящее время хранится в Яснополянской библиотеке. Цензурные поправки и пропуски в нем нанесены рукой Л.Я. Гуревич. Все они устранены в Юбилейном издании.

Перевод Вилло, переработанный Толстым, не был опубликован в «Revue de famille».

После публикации в «Северном вестнике», статья «Неделание», под заглавием «Le non agir», была напечатана в «Revue des revues», 1893, № 4 (октябрь).

5 октября 1893 г. Толстой записал в Дневнике: «...Revue des Revues напечатала скверный перевод Неделания, и это меня огорчило...» Плохой перевод вынудил Толстого обратиться в Париж к своему переводчику И.Д. Гальперину-Каминскому с просьбой опубликовать во французской печати заявление, что в «Revue des revues» он никакой статьи не посылал, и что появившийся там перевод полон искажений. Заявление Толстого было напечатано в газете «Echo de Paris» 15/27 ноября. Директору журнала «La revue des revues» Жану Фино (Jean Finot), в ответ на его письмо от 29 ноября 1893 г., Толстой писал 10 декабря 1893 г.: «Что касается перевода, то, особенно дорожа тем, чтобы эта статья, которая отвечала мыслям, высказанным французскими писателями, была хорошо переведена, я сделал его сам и послал в редакцию "Revue de famille", поэтому я был очень поражен теми оплошностями и несообразностями, которыми полон перевод, появившийся в вашем журнале».

По тексту «Северного вестника», но с незначительными изменениями, статья в 1894 г. была напечатана в «Сочинениях гр. Л.Н. Толстого», часть тринадцатая, стр. 793—828. Издательству «Посредник» цензура запретила выпускать статью «Неделание» отдельной брошюрой*. Впервые «Посредник» опубликовал статью в книге под заглавием: Л.Н. Толстой «Произведения последних годов» (статьи, вошедшие в тринадцатую часть собрания сочинений), изд. для интеллигентных читателей, М., 1895. Только в 1907 г. статью «Неделание» «Посредник» напечатал отдельной брошюрой, которая потом переиздавалась им.

В Юбилейном издании статья «Неделание» напечатана по тексту журнала «Северный вестник», № 9, с исправлением цензурных искажений и явных ошибок (по сохранившимся рукописям).

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 29.

* См. цензурное запрещение статьи Л.Н. Толстого «Неделание» от 16 октября 1893 г. за № 1862 (ГМТ).

КАК И ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

Время написания этой статьи определяется датой 6 октября 1905 г., проставленной Толстым в автографе.

По содержанию статья «Как и зачем жить?» близка к «Зеленой палочке» и могла бы рассматриваться как один из ее вариантов, если бы не самостоятельное заглавие, на ней проставленное Толстым, и им же написанная дата в конце статьи.

В Юбилейном издании статья напечатана по исправленной Толстым копии, сверенной с автографом.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 36.

ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

Статья «Зеленая палочка» возникла у Толстого в результате скрещения двух замыслов, которые занимали его с 1903—1904 г. Толстой, во-первых, задумал описать самого себя, со всеми своими отрицательными и положительными чертами; во-вторых, он хотел дать популярное изложение христианской религии, в его понимании. В записи Дневника от 9 июня 1903 г. Толстой, среди трех задуманных им тем, помечает и следующую: «Кто я такой — описать себя сейчас, со всеми слабостями и всем хорошим». Первый замысел он стал приводить в исполнение, однако, приблизительно лишь через полтора года; второй же, нашедший себе некоторое осуществление и в «Зеленой палочке», более полно был развит в статье «Единое на потребу».

1 декабря 1904 г. Толстой записывает в Дневник: «Начал *Кто я*». Это первый приступ к статье — в автографе озаглавленный «Кто я», вслед за заглавием следует: «Где я? Зачем я? Кто я?»

Автограф представляет собой конспективный набросок будущей первой главы «Зеленой палочки».

В марте 1905 г. Толстым была закончена статья, первоначально озаглавленная им «Вера». Это было новое произведение, текстуально никак не связанное со статьей «Кто я?» Рядом с заглавием «Вера», очевидно, позже, написано рукой Толстого другое заглавие — «Зеленая палочка». Статья датирована Толстым 12 марта 1905 г. С этого последнего автографа сделана была копия на пишущей машинке.

Сомнения, колебания и недовольство собой, в связи с работой над «Зеленой палочкой», сказываются в записях Дневника. Так, 6 апреля 1905 г. Толстой записывает: «Вчера попробовал "Зеленую палочку". Не пошло... Не могу соединить: всю истину, как я ее понимаю, с простотой изложения».

Нужно думать, что основная работа Толстого над «Зеленой палочкой» закончена была в декабре 1905 г. По крайней мере, в последний раз она упоминается им в записи Дневника от 9 декабря этого года: «Третьего дня писал "Зеленую палочку"».

Происхождение окончательного заглавия статьи кроется в воспоминаниях раннего детства Толстого. Вспоминая своего старшего брата Николеньку, который был «удивительный мальчик и потом удивительный человек», Толстой рассказывает о том, как Николенька объявил своим братьям о том, что у него есть тайна, посредством которой, если ее открыть, можно всех людей сделать счастливыми, и все сделаются *муравейными братьями*. «Вероятно, — добавляет Толстой, — это были моравские братья, о которых он слышал или читал, но, на нашем языке, это были муравейные братья». Эта тайна, по словам Николеньки, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага

старого Заказа, в том месте, где Толстой — в память брата — просил похоронить его и где он был — во исполнение его воли, — действительно, похоронен.

Свое воспоминание о зеленой палочке Толстой заканчивает такими словами: «Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает». («Воспоминания детства». Полное собрание сочинений Л.Н.Толстого под редакцией П.И. Бирюкова, т. 1, М. 1912.)

И решив обратиться к людям — незадолго до смерти—со статьей, в которой говорилось о том, как устроить жизнь так, чтобы она была радостной и счастливой, Толстой озаглавил ее тем символическим именем, с которым у него сочетались детские воспоминания о тайне человеческого счастья.

Впервые «Зеленая палочка», по копии А.П.Иванова, исправленной рукой Толстого, была напечатана в газете «Русское слово», 1911, № 1, и в том же году, в издательстве «Посредник» (№915). В обоих случаях текст напечатан исправно, но в нем допущено два пропуска. С этими же пропусками статья напечатана в XVIII томе полного собрания сочинений Толстого под редакцией П.И.Бирюкова, 1913 г.

«Зеленая палочка» напечатана в Юбилейном издании по исправленной Толстым копии А.П.Иванова, которая сверена с автографами, поэтому восстановлены оба пропуска.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 36.

ВЕРЬТЕ ТОМУ ВЕЧНОМУ, РАЗУМНОМУ И БЛАГОМУ НАЧАЛУ, КОТОРОЕ ЖИВЕТ В ВАС

«Верьте себе» (Обращение к юношеству)

21 ноября 1906 г. Толстой записал в Дневнике: «Вчера написал для "Родника" "К юношам". Порядочно. Не поправлял еще». В конце ноября статья была переписана набело и готова к отправке в редакцию детского журнала «Родник». 3 декабря Толстой написал к ней сопроводительное письмо на имя Н.А.Альмединген. Однако, ни статья, ни письмо отправлены не были. По-видимому, юбилейный номер «Родника» был уже собран, и статья Толстого опоздала.

В августе 1907 г. «Верьте себе» была послана в редакцию «Русского слова». Опубликована была в № 297 от 28 декабря 1907 г.

В Юбилейном издании статья «Верьте себе» напечатана по тексту газеты «Русское слово». Ошибки и опечатки исправлены по рукописям.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 37, под названием «Верьте тому вечному, разумному и благому началу, которое живет в вас».

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

(Обращение к кружку молодежи)

Статья «Любите друг друга», по словам В.Г.Черткова, «была вызвана желанием автора сказать, на прощание, несколько слов» кружку крестьянской молодежи. Ряд мыслей для этой статьи Толстой впервые записал в конце августа или в начале сентября 1907 г. в Записной книжке № 3.

26 сентября статья, с небольшим количеством исправлений Толстого, была послана с письмом В.Г.Черткову для печати.

Впервые статья «Любите друг друга» была опубликована с ошибками и цензурными пропусками в изд. «Посредник», М. 1909, № 730.

В Юбилейном издании статья напечатана по тексту изд. «Посредник». Опечатки и ошибки

262

набора и цензурные пропуски исправлены и вос-станавлены по рукописям.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 37, под названием «Любите друг друга».

НАШЕ ЖИЗНЕПОНИМАНИЕ

Н.Г. Сутковой при письме от 27 февраля 1907 г. прислал Толстому особое «провозглашение», целью которого ставил: «возможно короче... изложить основные положения нашего жизнепонимания и возможно шире распространить этот листок в народе».

Толстой приступил к работе над статьей. Вначале работа заключалась в переделке «Провозглашения основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира» Гаррисона и «провозглашения» Н.Г. Суткового.

2 июня Толстой послал «Наше жизнепонимание» В.Г.Черткову для издания.

Впервые эта статья была напечатана в переводе в болгарском толстовском журнале «Възраждане» (1907). В России впервые была напечатана в журнале «Голос Толстого» 1917.

В Юбилейном издании эта статья напечатана по тексту журнала «Голос Толстого». Ошибки переписчиков и опечатки исправлены по рукописям.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту ; Юбилейного издания, т. 37.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Издатель «Детской помощи», священник Г.П.Смирнов-Платонов, имея ввиду написанную Толстым в 1882 г. статью в разные газеты о помощи бедным, просил Толстого участвовать в его издании.

Судя по тому, что получение просьбы Смирнова-Платонова о сотрудничестве приурочивается к тому времени, когда Толстой заканчивал статью «Так что же нам делать?», позже запрещенную цензурой, сама просьба получена была в конце 1884 г. Толстой послал ему не статью о благотворительности, которую в начале намерен был послать, но которую он не закончил, а другую статью.

Очевидно, отрывок написан был в первой половине 1885 года.

Впервые статья эта напечатана была в 1904 г. в X т. «Полного собрания сочинений, запрещенных в России. Л.Н.Толстого». изд. «Свободного слова», под редакцией В.Г.Черткова.

Впоследствии, статья из этого издания, без всяких изменений, перепечатана была в собрании сочинений Толстого (издание 12-е, 1911 г., часть пятнадцатая, и издание И.Д. Сытина под редакцией П.И.Бирюкова 1913 г., т. XIII).

В Юбилейном издании статья напечатана по рукописи.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 25.

О ВОСПИТАНИИ

История написания этой статьи-письма рассказана В.Ф.Булгаковым. В 1909 г. он задумал «составить подробное и строго систематическое изложение мировоззрения Толстого». Приступив к этой работе, он почувствовал недостаток материала для точного определения взглядов Толстого на задачи, границы и методы образования. «Почти исчерпывающая вопрос статья "О ложной науке" тогда не была еще написана. Ввиду всего этого, я решил обратиться с письменным запросом непосредственно к самому Л.Н-чу» (В.Ф.Булгаков «Лев Толстой в последний год его жизни»).

8 апреля 1909 г. секретарь Толстого Н.Н.Гусев известил Булгакова, что Лев Николаевич ответит на его вопросы после того, как перечтет свои прежние педагогические статьи. В мае 1909 г. Булгаков получил ответ Толстого вместе с сопроводительной запиской Гусева, извещавшей о том, что письмо Булгакова «подало Льву Николаевичу повод написать большую статью об образовании и воспитании».

Как видно по рукописным датам, статья эта была начата в апреле 1909 г., а именно 11 апреля, когда Толстой записал в Дневнике: «Все не могу, как хочется, ответить Булгакову. Постараюсь написать нынче». Закончена она 1 мая того же года.

Статья была впервые напечатана в журнале «Свободное воспитание» 1909—1910 гг., № 2, с большим количеством цензурных пропусков. Полностью — в сборнике: Л.Н.Толстой «О науке», изд. «Единение». М., 1917.

В Юбилейном издании статья напечатана по авторской корректуре с исправлением погрешностей по рукописям.

В данном комментарии прилагается вариант статьи «О воспитании».

ВАРИАНТ СТАТЬИ «О ВОСПИТАНИИ»

Все сводится к одному вопросу: какие знания справедливо и полезно передавать обучаемым? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, хотя в общих чертах, представить себе *всю* область знания.

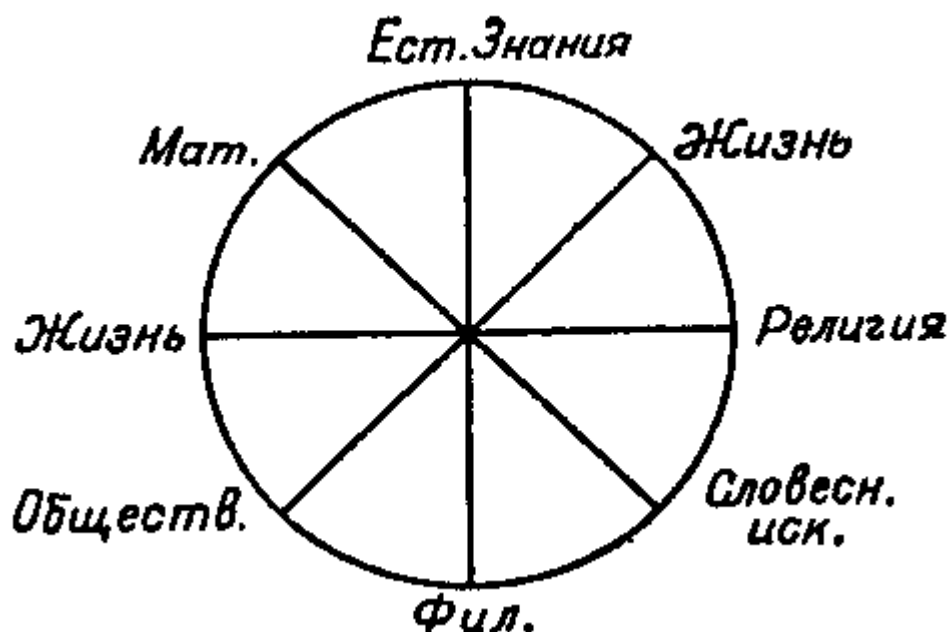
Всю область знания человека или человечества я представляю себе как расходящееся из одной точки сознания человека или человечества бесконечное количество бесконечных линий или радиусов бесконечной сферы. Знание может быть более или менее совершенным по количеству исходящих из центра радиусов и по длине их. Очевидно, что так как количество радиусов и длина их бесконечны, то совершенного, даже приближающегося к совершенному, знания не может быть; может же быть только более или менее гармоническое, внутренне согласное. Наиболее внутренне согласное будет такое, при котором исходящие из центра радиусы более или менее частые, будучи на одинаковом друг от друга расстоянии, охватывают все стороны и в протяжении своём более или менее равны, образуя более или менее правильную сферу. Такое распределение знаний, при котором радиусы при одинаковом расстоянии образуют сферу, будет наиболее воспитательным; такое же, при котором знания распределены неравномерно, как радиусы только в одной половине, четверти или осьмушке сферы, и одни короткие, другие длинные, — будет ложно воспитательным и ложно образовательным.

В грубой форме, нисколько не настаивая на справедливости построения, допуская, что могут быть совсем другие, я, по крайней мере, представляю себе распределение знаний так: важно для меня не самое это распределение, а то, что для возможно правильного воспитания нужно, чтобы *было* это распределение, обнимающее все области знания в их взаимной зависимости.

Я представляю себе это так:

Один диаметр, первый, состоящий из 2-х радиусов, одного — религиозное понимание смысла жизни, и другого, на противоположной стороне, — деятельность жизни, главное руководство ее. Перпендикуляр к этому диаметру, с одной стороны, — естественные знания, с другой — философия, третий пересекающий диаметр: общественная жизнь, и на другом конце — история, география, этнография, жизнь народов. Четвертый диаметр: на одном конце —

словесность, искусство, на другом — математика. Так вот.



«Толстовский листок» печатает обе статьи по тексту Юбилейного издания, т. 38.

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ

Поводом для написания этой статьи послужила беседа, происходившая 14 сентября 1909 г. в Крекшине. В дневнике А.Б.Гольденвейзера в этот день записано: «Вечером ждали народных учителей и учительниц земских школ Звенигородского уезда, которые хотели поговорить со Л.Н-чем и были приглашены для этого. По случаю их прихода, Л.Н. написал небольшую как бы статью о своих взглядах на обучение детей, чтобы прочесть им. Над этой статьей он работал последние дни» («Вблизи Толстого», т. I, стр. 326).

Впервые статья появилась еще при жизни Толстого — в журнале «Свободное воспитание» 1909—1910 гг., № 3.

В Юбилейном издании статья напечатана по журналу «Свободное воспитание», с исправлениями ошибок и опечаток по автографу.

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 38.

БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ ПО НРАВСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ

2 февраля 1906 г. Толстой записал в Дневнике: «Очень хочется Круг чтения для детей и народа. Но все руки не доходят». К осуществлению этого замысла Толстой приступил в декабре 1906 г. Тогда же он начал занятия с крестьянскими

мальчиками Ясной Поляны по вопросам религии и нравственности. Эти занятия давали ему материал для детского «Круга чтения». Занятия с детьми Толстой продолжал в течение всего первого полугодия 1907 г. и, параллельно с этими занятиями, работал над составлением детского «Круга чтения».

И.И.Горбунов-Посадов, предпринимавший с осени 1907 г. издание журнала «Свободное воспитание», в июле или в начале августа обратился к Толстому с просьбой дать ему для первого номера этого журнала что-нибудь из составляемого Толстым детского «Круга чтения». Толстой обещал исполнить эту просьбу. 6 августа 1907 г. он записал в Дневнике: «Сейчас взялся за Детский Круг чтения для Ивана Ивановича».

Произведя отборку материала из детского «Круга чтения», Толстой написал к нему небольшое вступление и послал И.И.Горбунову-Посадову для печати. Составившаяся таким образом статья была напечатана под заглавием «Беседы с детьми по нравственным вопросам» в первом номере «Свободного воспитания», вышедшем из печати 8 ноября 1907 г.

В Юбилейном издании статья «Беседы с детьми по нравственным вопросам» напечатана по тексту журнала «Свободное воспитание».

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т.37.

КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?

Писание школьных сочинений было одним из излюбленных педагогических приемов, применявшихся Толстым в Яснополянской школе и вызывавших среди учеников большой интерес. В «Дневнике Яснополянской школы» мы находим целый ряд записей, относящихся к этим занятиям. Большая часть записей принадлежит учителю П.В.Морозову; таковы следующие записи. 26 февраля: «Все писали сочинения; темы для этих сочинений выбирали сами произвольно». 27 февраля: «Приказано графом разнообразить писание: день — из св. истории, другой — разные сочинения, выдуманные ими самими». 28 февраля: «Младшие ученики писали сочинения. Все почти писали о маслянице». 2 марта: «Переписывали свои сочинения: Румянцев — о дедушке, Фока-нов — о свадьбе, Жданов — о прогулке с товарищами». 9 марта: «Читали сочинения». 12 марта: «Продолжали писать сочинения. Некоторые начали новые темы». Сам Толстой внес следующие записи. 28 февраля: «Писали сочиненья — все о театре. Васька — о том, что бы он сделал, коли бы попался в плен... Кирюшка ни на шаг не уступал Успенскому, — В Андр. несчастном». 6 марта: «Читали все сочиненья. Дунька, Чернов и Фока-нов — очень хороши сочиненья».

Этот вопрос настолько заинтересовал его, не только с педагогической, но и с художественной и психологической стороны, что Толстой, вскоре, развил его в отдельной статье, которую он сам озаглавил: «Кому у кого учиться писать, — крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» Вероятно, Толстой начал работать над этой статьей только после окончания своей предыдущей большой статьи: «Об общественной деятельности на поприще народного

образования», — напечатанной ; в августовской книжке «Ясной Поляны», с цензурной пометой от 20 сентября, а закончена была эта работа в конце этого же месяца.

Статья напечатана впервые в сентябрьской книжке журнала «Ясная Поляна», стр. 31—57.

В Юбилейном издании статья «Кому у кого учиться писать, — крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» напечатана по тексту «Ясной поляны», с исправлениями, взятыми из рукописи и восстанавливающими произвольные поправки и пропуски.

Рассказ «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» напечатан в апрельской «Книжке Ясной Поляны» без имени автора. Рассказ «Солдаткино житье» напечатан в сентябрьской «Книжке Ясной Поляны» за подписью: Василий Морозов («Федька»).

«Толстовский листок» печатает статью по тексту Юбилейного издания, т. 8.

ДЕТСКАЯ МУДРОСТЬ

24 января 1909 г. Толстой записал в Дневнике: «Нынче, гуляя, думал о двух: детская мудрость и о воспитании». Вероятно, вскоре Толстой составил список тем диалогов, которые он хотел разработать для «Детской мудрости». В первоначальном списке было значительно больше тем. 14 февраля Толстой в Дневнике среди перечня замыслов отметил: «Детская мудрость. Осуждение». В первом списке эта тема отсутствует; она была внесена в копии списка вместо вычеркнутой темы «О наследственности». Однако из намеченных в списках тем Толстой разработал вчерне только двадцать одну тему, другие остались неразработанными. Среди них:

- О представительстве.
- О наследственности.
- О труде.
- Об охоте.
- О питании мясом.
- О городах.
- О церкви.
- О мощах.
- О таинствах.
- Об уважении древности.
- Об играх.
- Об образовании.
- О власти — насилии.
- О земле.

Непосредственно к работе над диалогами Толстой приступил 19 февраля 1909 г. Под этим числом он записал в Дневнике: «Начал "Детскую мудрость"». Работа

протекала более или менее интенсивно до начала мая 1909 г., и большинство диалогов, по-видимому, было написано за это время. Затем следовал перерыв до середины октября того же года. По крайней мере, о работе над «Детской мудростью» в этот период нет упоминаний ни в Дневнике, ни в письмах Толстого.

Возобновление работы в октябре было вызвано просьбой редакции «Юбилейного сборника» Литературного фонда, переданной через В.Г.Черткова, дать какое-либо произведение в сборник, посвященный пятидесятилетию Литературного фонда.

Толстой работал над диалогами, с перерывами, приблизительно в течение месяца и вновь прервал работу.

В сборник Литературного фонда вместо «Детской мудрости» были посланы два очерка: «Песни на деревне» и «Разговор с прохожим» и статья «Единая заповедь».

Между тем, Толстой и позднее не оставлял мысли закончить «Детскую мудрость». В его Дневнике за июнь 1910 г. есть упоминание о работе над нею.

Таким образом, работа над «Детской мудростью» в общем продолжалась, с большими перерывами, почти полтора года и была приостановлена.

Впервые «Детская мудрость» была напечатана с ошибками в «Посмертных художественных произведениях» Л.Н.Толстого, т. II, М., 1911 и Берлин, 1911.

В «Юбилейном издании» текст «Детской мудрости» напечатан по рукописям.

«Толстовский листок» печатает «Детскую мудрость» по тексту «Юбилейного издания», т. 37.
